история/география/этнография

Стефан Цвейг

Подвиг Магеллана

Подвиг Магеллана

Стефан Цвейг

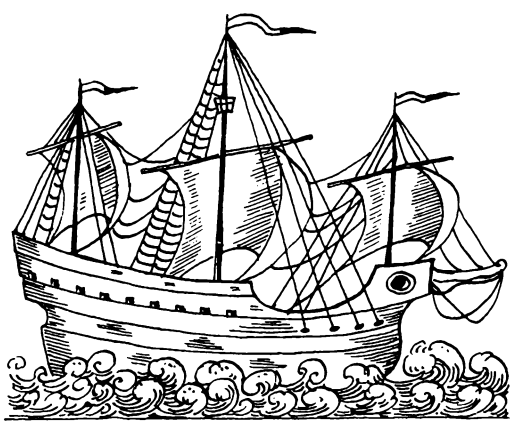
Ломоносовъ
издательство

Navigare necesse est,
vivere non est necesse

Стефан Цвейг

Подвиг Магеллана

Перевод с немецкого
Анны Кулишер



Издательство «Ломоносовъ»
Москва • 2012

УДК 910
ББК 26.8г
Ц26

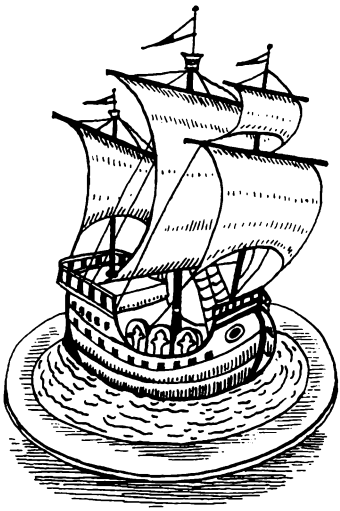
Scan By Vitautas & Kali

Stefan Zweig
MAGELLAN

Иллюстрации И. Тибиловой

ISBN 978-5-91678-132-8
© ООО «Издательство «Ломоносовъ», 2012

От автора



Книги зарождаются из разнородных чувств. На создание книги может толкнуть и вдохновение, и чувство благодарности; в такой же мере способны разжечь духовную страсть досада, гнев, огорчение. Иной раз побудительной причиной становится любопытство, психологическая потребность в процессе писания уяснить себе самому людей и события. Но и мотивы сомнительного свойства: тщеславие, алчность, самолюбование — часто, слишком часто побуждают нас к творчеству; поэтому автору, собственно, каждый раз следовало бы отдавать себе отчет, из каких чувств, в силу какого влечения выбрал он свой сюжет. Внутренний источник данной книги мне совершенно ясен. Она возникла из несколько необычного, но весьма настойчивого чувства — пристыженности.

Было это так. В прошлом году[1] мне впервые представился долгожданный случай поехать в Южную Америку. Я знал, что в Бразилии меня ждут прекраснейшие места на земле, а в Аргентине — ни с чем не сравнимое наслаждение: встреча с собратьями по духу. Уже одно предвкушение этого делало поездку чудесной, а в дороге присоединилось все, что только может быть приятного: спокойное море, полное отдохновение на быстроходном и поместительном судне, отрешенность от всех обязательств и повседневных забот. Безмерно наслаждался я райскими днями этого путешествия. Но внезапно, на седьмой или восьмой день, я поймал себя на чувстве какого-то досадливого нетерпения. Все то же синее небо, все та же синяя безмятежная гладь! Слишком долгими показались мне в эту минуту внезапного раздражения часы путешествия. В душе я уже хотел быть у цели, меня радовало, что стрелка часов каждый день неустанно продвигается вперед. Ленивое, расслабленное наслаждение ничем как-то вдруг стало угнетать меня. Одни и те же лица все тех же людей казались утомительными, монотонная жизнь на корабле раздражала нервы именно своим равномерно пульсирующим спокойствием. Лишь бы вперед, вперед, скорей, как можно скорей! И сразу этот прекрасный, уютный, комфортабельный, быстроходный пароход стал для меня недостаточно быстрым.

Может быть, какая-то секунда понадобилась мне, чтобы осознать свое нетерпение и устыдиться. «Ведь ты, — гневно сказал я себе, — совершаешь чудесное путешествие на безопаснейшем из судов, любая роскошь, о которой только можно помыслить, к твоим услугам. Если вечером в твоей каюте слишком прохладно, тебе стоит только двумя пальцами повернуть регулятор — и воздух нагрелся. Полуденное солнце экватора кажется тебе несносным — что же, в двух шагах от тебя находится помещение с охлаждающими вентиляторами, а чуть подальше тебя уже ждет бассейн для плавания. За столом в этой роскошнейшей из гостиниц ты можешь заказать любое блюдо, любой напиток — все появится в мгновение ока, словно принесенное легкокрылыми ангелами, и притом в изобилии. Ты можешь уединиться и читать книги или же сколько душе угодно развле-

каться играми, музыкой, обществом. Тебе предоставлены все удобства и все гарантии безопасности. Ты знаешь, куда едешь, точно знаешь час своего прибытия и знаешь, что тебя ждет дружеская встреча. Так же и в Лондоне, Буэнос-Айресе, Париже и Нью-Йорке ежечасно знают, в какой точке вселенной находится твое судно. Тебе нужно только подняться на несколько ступенек по маленькой лесенке, и послушная искра беспроволочного телеграфа тотчас отделится от аппарата и понесет твой вопрос, твой привет в любой уголок земного шара, и через час тебе уже откликнутся с любого конца света. Вспомни же, нетерпеливый, ненасытный человек, как было раньше! Сравни хоть на миг свое путешествие со странствиями былых времен, и прежде всего с первыми плаваниями тех смельчаков, что впервые открыли для нас эти необъятные моря, открыли мир, в котором мы живем, — вспомни и устыдись! Попробуй представить себе, как они на крохотных рыбачьих парусниках отправлялись в неведомое, не зная пути, затерянные в беспредельности, под вечной угрозой гибели, отданные во власть непогоды, обреченные на тягчайшие лишения. Ночью — беспросветный мрак, единственное питье — тепловатая, затхлая вода из бочек или набранная в пути дождевая, никакой еды, кроме черствых сухарей да копченого прогорклого сала, а часто долгие дни даже без этой скудной пищи. Ни постелей, ни места для отдыха, жара адская, холод беспощадный, и к тому же сознание, что они одни, безнадежно одни среди этой жестокой водной пустыни. На родине месяцами, годами не знали, где они, и сами они не знали, куда плывут. Невзгоды сопутствовали им, тысячеликая смерть обступала их на воде и на суше, им угрожали люди и стихии; месяцы, годы — вечно эти жалкие, утлые суденышки окружены были ужасающим одиночеством. Никто — и они это знали — не может поспешить к ним на помощь, ни один парус — и они это знали — не встретится им за долгие, долгие месяцы плавания в этих не вспаханных корабельным килем водах, никто не выручит их из нужды и опасности, никто не принесет вести об их смерти, гибели». Едва я начал думать об этих первых плаваниях конкистадоров морей, как я глубоко устыдился своего нетерпения.

Это чувство пристыженности, однажды пробудившись, уже не покидало меня в продолжение всего пути, мысль о безыменных героях не давала мне ни минуты покоя. Меня потянуло подробней узнать о тех, кто первым отважился вступить в бой со стихией, прочесть о первых плаваниях по неисследованным морям, описания которых волновали меня уже в отроческие годы. Я зашел в пароходную библиотеку и наудачу взял несколько томов. Из всех описаний людей и плаваний меня больше всего поразил подвиг одного человека, непревзойденный, думается мне, в истории познания нашей планеты. Я имею в виду Фернандо Магеллана, того, кто во главе пяти утлых рыбачьих парусников покинул Севильскую гавань, чтобы обогнуть земной шар. Прекраснейшая Одиссея в истории человечества — это плавание двухсот шестидесяти пяти мужественных людей, из которых только восемнадцать возвратились на полуразбитом корабле, но с флагом величайшей победы, реющим на мачте. Многого я из этих книг о нем не вычитал, во всяком случае, для меня этого было мало. Возвратившись домой, я продолжал читать и рыться в книгах, дивясь тому, сколь малым и сколь малодостоверным было все ранее рассказанное об этом геройском подвиге. И снова, как много раз прежде, я понял, что лучшей и плодотворнейшей возможностью объяснить самому себе необъяснимое будет воплотить в слове и объяснить его для других. Так возникла эта книга — по правде говоря, мне самому на удивление. Ибо в то время как я, в соответствии со всеми доступными мне документами, по мере возможности придерживаясь действительности, воссоздавал эту вторую одиссею, меня не оставляло странное чувство, что я рассказываю нечто вымышленное, одну из великих грез, священных легенд человечества. Но ведь нет ничего прекраснее правды, кажущейся неправдоподобной! В великих подвигах человечества, именно потому, что они так высоко возносятся над обычными земными делами, заключено нечто непостижимое; но только в том невероятном, что оно свершило, человечество снова обретает веру в себя.

Navigare necesse est*

В начале были пряности. С тех пор как римляне в своих путешествиях и войнах впервые познали прелесть острых и дурманящих, терпких и пьянящих восточных приправ, Запад уже не может и не хочет обходиться как на кухне, так и в погребе без especeria — индийских специй, без пряностей. Ведь вплоть до позднего Средневековья пища северян была невообразимо пресна и безвкусна. Пройдет еще немало времени, прежде чем наиболее употребительные ныне плоды — картофель, кукуруза и помидоры — обоснуются в Европе; пока же мало кто подкисляет кушанья лимоном, подслащивает сахаром; еще не открыты изысканные тонизирующие свойства чая и кофе; даже государи и знатные люди ничем, кроме тупого обжорства, не могут вознаградить себя за бездушное однообразие трапез. Но удивительное дело: стоит только в самое незатейливое блюдо подбавить одно-единственное зернышко индийских пряностей — крохотную щепотку перца, сухого мускатного цвета, самую малость имбиря или корицы, — и во рту немедленно возникает своеобразное, приятное раздражение. Между ярко выраженным мажором и минором

---

* Плавать по морю необходимо (*лат.*).

кислого и сладкого, острого и пресного начинают вибрировать очаровательные гастрономические обертоны и промежуточные звучания. Вскоре еще не изощренные, варварские вкусовые нервы средневековых людей начинают все более жадно требовать этих новых возбуждающих веществ. Кушанье считается хорошо приготовленным, только когда оно донельзя переперчено, до отказа едко и остро; даже в пиво кладут имбирь, а вино так приправляют толчеными специями, что каждый глоток огнем горит в гортани. Но не только для кухни нужны Западу столь огромные количества especeria.

Женская суетность тоже требует все больше и больше благовоний Аравии, и притом все новых, — дразнящего чувственность мускуса, приторной амбры, розового масла; для женщин ткачи и красильщики вырабатывают китайские шелка, индийские узорчатые ткани, золотых дел мастера раздобывают белый цейлонский жемчуг и голубоватые нарсингарские[2] алмазы. Еще больший спрос на заморские товары предъявляет католическая церковь, ибо ни одно из миллиардов зернышек ладана, курящегося в кадильницах, мерно раскачиваемых причетниками тысяч и тысяч церквей Европы, не выросло на европейской земле, каждое из миллиардов этих зернышек морем и сушей совершало свой неизмеримо долгий путь из Аравии. Аптекари, в свою очередь, являются постоянными покупателями прославленных индийских специй — таких, как опий, камфара, драгоценная камедистая смола; им по опыту известно, что никакой бальзам, никакое лекарственное снадобье не покажется больному истинно целебным, если на фарфоровой баночке синими буквами не будут начертаны магические слова «arabicum» или «indicum»*. Все восточное в силу своей отдаленности, редкости, экзотичности, быть может, и дороговизны начинает приобретать для Европы неотразимую, гипнотизирующую прелесть. «Арабский», «персидский», «индостанский» — эти определения в Средние века (так же как в восемнадцатом веке эпитет «французский») тождественны словам: роскошный, утонченный, изысканный, царственный, драгоценный. Ни один товар не пользовался таким спросом, как пряности:

---

* Арабский или индийский (*лат.*).

казалось, аромат этих восточных цветов незримым волшебством околдовал души европейцев.

Но именно потому, что мода так настойчиво требовала индийских товаров, они были дороги и непрерывно дорожали. В наши дни почти невозможно точно проследить лихорадочный рост цен на эти товары, ибо все исторические таблицы денежных цен, как мы знаем по опыту, достаточно абстрактны. Наглядное представление о бешено взвинченных ценах на пряности лучше всего можно получить, вспомнив, что в начале второго тысячелетия нашей эры тот самый перец, что теперь стоит на столиках любого ресторана, перец, который сыплют небрежно, как песок, сосчитывался по зернышкам и расценивался едва ли не на вес серебра. Ценность его была столь устойчива, что многие города и государства расплачивались им, как благородным металлом; на перец можно было приобретать земельные участки, перцем выплачивать приданое, покупать за перец права гражданства. Многие государи и города исчисляли взимаемые ими пошлины на вес перца, а если в Средние века хотели сказать, что кто-либо неимоверно богат, его в насмешку обзывали «мешком перца». Имбирь, корицу, хинную корку и камфару взвешивали на ювелирных и аптекарских весах, наглухо закрывая при этом двери и окна, чтобы сквозняком не сдуло драгоценную пылинку. Как ни абсурдна на наш современный взгляд подобная расценка пряностей, она становится понятной, когда вспомнишь о трудности их доставки и сопряженном с нею риске. Бесконечно велико было в те времена расстояние между Востоком и Западом, и каких только опасностей и препятствий не приходилось преодолевать в пути кораблям, караванам и обозам, какая одиссея выпадала на долю каждому зернышку, каждому лепестку, прежде чем они с зеленого куста Малайского архипелага попадали на свой последний причал — прилавок европейского торговца! Разумеется, само по себе ни одно из этих растений не являлось редкостью. По ту сторону земного шара все они — коричные деревья на Тидоре[3], гвоздичные на Амбоине[4], мускатный орех на Банде[5], кустики перца на Малабарском побережье[6] — растут в таком же изобилии и так же привольно, как у нас чертополох, и центнер пряностей на Малайских островах ценится

не дороже, чем щепотка пряностей на Западе. Но в скольких руках должен перебывать товар, прежде чем он через моря и пустыни попадет к последнему покупателю — к потребителю! Первая пара рук, как обычно, оплачивается всех хуже: раб-малаец, который собирает только что созревшие плоды и в плетеной, навьюченной на смуглую спину корзине тащит их на рынок, не наживает ничего, кроме ссадин и пота. Но уже его хозяин получает известный барыш; купец-мусульманин покупает у него товар и на крохотном челноке, в палящий зной везет его с Молуккских островов восемь, десять, а то и больше дней до Малакки (близ нынешнего Сингапура). Здесь в сотканной им сети уже сидит первый паук-кровосос; хозяин гавани — могущественный султан — взимает с купца пошлину за перегрузку товара. Лишь после внесения пошлины купец получает право перегрузить душистую кладь на джонку покрупнее, и снова широкое весло или четырехугольный парус медленно движет суденышко вперед, вдоль берегов Индии. Так проходят месяцы: однообразное плавание, а в штиль — бесконечное ожидание под знойным, безоблачным небом. И затем снова стремительное бегство от тайфунов и корсаров. Бесконечно трудна и несказанно опасна эта перевозка товара по двум, даже по трем тропическим морям. В дороге из пяти судов одно почти всегда становится добычей бурь или пиратов, и купец возносит благодарственные молитвы, когда, благополучно миновав Камбай[7], наконец достигает Ормуза[8] или Адена, где ему открывается доступ к Arabia felix* или к Египту. Но новый вид перевозки, начинающийся с этих мест, не менее труден, не менее опасен. Длинными покорными вереницами стоят в этих перевалочных гаванях тысячи верблюдов, послушно опускаются они на колени по первому знаку хозяина; один за другим на них навьючивают крепко увязанные, набитые перцем и мускатным цветом тюки, и, мерно покачиваясь, «четвероногие корабли» начинают свой путь по песчаному морю. Долгие месяцы тянутся по пустыне арабские караваны с индийскими товарами — «тысяча и одна ночь» воскресает в этих названиях — через Бассру, и Багдад, и Дамаск в Бейрут и Трапезунд или через

* Счастливой Аравии (*лат.*).

Джидду в Каир. Идут они через пустыню дальними, древними путями, хорошо известными купцам еще со времен фараонов и бактрийцев. Но на беду, не хуже известны они и бедуинам — этим пиратам песчаных пустынь; дерзкий набег зачастую одним ударом уничтожает плоды трудов и усилий многих месяцев. То, чему посчастливилось спастись от песчаных смерчей и бедуинов, становится добычей других разбойников: с каждого верблюда, с каждого тюка геджасские эмиры, египетские и сирийские султаны взимают пошлину, и притом немалую. Ежегодный доход одного только египетского грабителя от пошлин, взимаемых за провоз пряностей, исчисляется сотнями тысяч дукатов. А когда наконец караван доходит до устья Нила, близ Александрии, там его уже поджидает последний, но отнюдь не самый скромный взиматель податей — венецианский флот. Со времени вероломного уничтожения торговой соперницы — Византии эта маленькая республика целиком захватила монополию торговли пряностями на Западе; вместо того чтобы прямо отправляться к месту назначения, товар следует на Риальто[9], где его с аукциона приобретают немецкие, фламандские и английские маклеры. И лишь тогда в повозках на широких колесах, по снегам и льдам альпийских ущелий, катят эти плоды, рожденные и взращенные два года назад тропическим солнцем, к европейскому торговцу и тем самым к потребителю.

Не меньше чем через дюжину хищных рук, как меланхолически вписывает Мартин Бехайм[10] в 1492 году в свой глобус, в знаменитое свое «Яблоко земное», должны пройти индийские пряности, прежде чем попасть в последние руки — к потребителю: «А также ведать надлежит, что специи, кои растут на островах индийских, на Востоке во множестве рук перебывают, прежде чем доходят до наших краев». Но хоть и дюжина рук делит наживу, каждая из них все же выжимает из индийских пряностей довольно золотого сока; несмотря на весь риск и опасности, торговля пряностями слывет в Средние века самой выгодной, ибо наименьший объем товара сочетается здесь с наивысшей прибылью. Пусть из пяти кораблей — экспедиция Магеллана доказывает правильность этого расчета — четыре пойдут ко дну вместе с грузом, пусть из двухсот шестидесяти пяти человек двести

не возвратятся домой, пусть капитаны и матросы расстаются с жизнью, купец и тут не останется внакладе. Если по прошествии трех лет из пяти кораблей вернется лишь самый малый, но груженный одними пряностями, этот груз с лихвой возместит все убытки, ибо мешок перца в пятнадцатом веке ценится дороже человеческой жизни. Не удивительно, что при большом предложении не имевших никакой ценности жизней и бешеном спросе на высокоценные пряности расчет купцов всегда оказывается верным. Венецианские палаццо, дворцы Фуггеров[11] и Вельзеров[12] едва ли не целиком сооружены на прибыли от индийских пряностей.

Но как на железе неминуемо образуется ржавчина, так большим прибылям неизменно сопутствует едкая зависть. Любая привилегия всегда воспринимается другими как несправедливость, и там, где отдельная группа людей безмерно обогащается, сама собой возникает коалиция обделенных. Давно уже косятся генуэзцы, французы, испанцы на оборотистую Венецию, сумевшую отвести золотой Гольфстрим к Канале-Гранде, и еще более злобно взирают они на Египет и Сирию, где ислам неодолимой цепью отгородил Индию от Европы: ни одному христианскому судну не разрешается плавание в Красном море, ни один купец-христианин не вправе пересечь его. Вся торговля с Индией неумолимо осуществляется через турецких и арабских купцов и посредников. Такое положение вещей не только бессмысленно удорожает товар для европейского потребителя, не только заведомо урезывает прибыль христианских купцов, — возникает новая опасность: весь избыток драгоценных металлов может отхлынуть на Восток, ибо стоимость европейских товаров значительно уступает стоимости индийских. Уже из-за одного этого весьма ощутительного убытка нетерпеливое желание западных стран освободиться от разорительного и унижающего их контроля становилось все более настойчивым, и силы наконец объединились. Крестовые походы отнюдь не были (как это часто изображается романтизирующими историками) только мистически-религиозной попыткой отвоевать у неверных «гроб Господень»; эта первая европейско-христианская коалиция являлась в то же время и первым продуманным и целеустремленным усилием разомкнуть цепь, преграждав-

шую доступ к Красному морю, снять для Европы, для христианского мира запрет торговли с восточными странами. Но так как эта попытка не удалась, поскольку Египет остался во власти мусульман и ислам по-прежнему преграждал дорогу в Индию, то, естественно, возникло желание сыскать другой свободный, независимый путь в эту страну. Отвага, побудившая Колумба двинуться на запад, Бартоломеу Диаша[13] и Васко да Гаму — на юг, Кабота[14] — на север, к Лабрадору, рождалась прежде всего из целенаправленного стремления наконец-то открыть для западного мира вольный, беспошлинный, беспрепятственный путь в Индию и тем самым сломить позорное превосходство ислама. В истории важнейших изобретений и открытий окрыляющим началом всегда является духовное, нравственное побуждение, но толкают на претворение этих открытий в жизнь чаще всего мотивы материального порядка. Разумеется, уже одной своей дерзновенностью замыслы Колумба и Магеллана должны были воодушевить королей и их советников; но никогда эти проекты не были бы поддержаны деньгами, нужными для их осуществления, никогда монархи и спекулянты не снарядили бы флот для отважных конкистадоров, если бы эти экспедиции в неведомые страны не сулили в то же время тысячекратного возмещения затраченных средств. За героями этого века открытий в качестве движущей силы стояли купцы, и этот первый героический порыв завоевать мир был вызван весьма земными побуждениями. Вначале были пряности.

Чудотворны бывают в истории мгновения, когда гений отдельного человека вступает в союз с гением эпохи, когда один человек проникается творческим устремлением своего времени. Среди стран Европы была одна, которой еще не удалось выполнить свою часть общеевропейской задачи, — Португалия, в долгой героической борьбе освободившаяся от владычества мавров. Но теперь, когда добытые оружием победа и самостоятельность закреплены, молодой, полный сил народ пребывает в вынужденном бездействии. Естественное стремление к экспансии, присущее каждому успешно развивающемуся народу, пока еще не находит выхода. Все сухопутные границы Португалии соприкасаются с Испанией, дружественным, братским королевством, следователь-

но, для маленькой бедной страны возможна только экспансия на море посредством торговли и колонизации. На беду, географическое положение Португалии по сравнению со всеми другими мореходными нациями Европы является — или кажется в те времена — наименее благоприятным. Ибо Атлантический океан, чьи несущиеся с запада волны разбиваются о португальское побережье, слыл, согласно географии Птолемея (единственного авторитета Средних веков), беспредельной, недоступной для мореплавания водной пустыней. Столь же недоступным изображается в Птолемеевых описаниях Земли и южный путь — вдоль африканского побережья: невозможным считалось обогнуть морем эту песчаную пустыню, дикую, необитаемую страну, якобы простирающуюся до антарктического полюса и не отделенную ни единым проливом от terra australis*. По мнению старинных географов, из всех европейских стран, занимающихся мореплаванием, Португалия, не расположенная на берегу единственного судоходного моря — Средиземного, находилась в наиболее невыгодном положении.

И вот делом жизни одного португальского принца становится превратить это мнимо невозможное в возможное, отважно попытаться сделать, согласно евангельскому изречению, последних первыми. Что, если Птолемей, этот geographus maximus**, этот непогрешимый авторитет землеведения, ошибся? Что, если этот океан, могучие западные волны которого нередко выбрасывают на португальский берег обломки диковинных, неизвестных деревьев (а ведь где-нибудь они да росли), вовсе не бесконечен? Что, если он ведет к новым, неведомым странам? Что, если Африка обитаема и по ту сторону тропиков? Что, если премудрый грек попросту заврался, утверждая, будто этот неисследованный материк нельзя обогнуть, будто через океан нет пути в индийские моря? Ведь тогда Португалия, лежащая западнее других стран Европы, стала бы подлинным трамплином всех открытий и через Португалию прошел бы ближайший путь в Индию. Тогда бы Португалия не была больше заперта океаном,

---

* Южной земли (*лат.*).

** Величайший географ (*лат.*).

а, напротив, больше других стран Европы призвана к мореходству. Эта мечта сделать маленькую, бессильную Португалию великой морской державой и Атлантический океан, слывший доселе неодолимой преградой, превратить в водный путь стала in nuce* делом всей жизни iffante** Энрике, заслуженно и в то же время незаслуженно именуемого в истории Генрихом Мореплавателем. Незаслуженно, ибо, если не считать непродолжительного морского похода в Сеуту[15], Энрике ни разу не ступал на корабль, не написал ни одной книги о мореходстве, ни одного навигационного трактата, не начертил ни единой карты. И все же история по праву присвоила ему это имя, ибо только мореплаванию и мореходам отдал этот португальский принц всю свою жизнь и все свои богатства. Уже в юные годы отличившийся при осаде Сеуты (1412), один из самых богатых людей в стране, этот сын португальского и племянник английского короля мог удовлетворить свое честолюбие, занимая самые блистательные должности; европейские дворы наперебой зовут его к себе. Англия предлагает ему пост главнокомандующего. Но этот странный мечтатель всему предпочитает плодотворное одиночество. Он удаляется на мыс Сагриш[16], некогда священный (sacrum) мыс древнего мира, и там в течение без малого пятидесяти лет подготовляет морскую экспедицию в Индию и тем самым — великое наступление на Mare incognitum***.

Что дало одинокому и дерзновенному мечтателю смелость наперекор величайшим космографическим авторитетам того времени, наперекор Птолемею и его продолжателям и последователям защищать утверждение, что Африка отнюдь не примерзший к полюсу материк, что обогнуть ее возможно и что там-то и пролегает искомый морской путь в Индию? Эта тайна вряд ли когда-нибудь будет раскрыта. Правда, в ту пору еще не заглохло (упоминаемое Геродотом и Страбоном) предание, будто в покрытые мраком дни фараонов финикийский флот, выйдя в Красное море, два года спустя, ко все-

---

* В зародыше (*лат.*).

** Инфант (титул португальских и испанских принцев) (*порт. и исп.*).

*** Неизвестное море (*лат.*).

общему изумлению, вернулся на родину через Геркулесовы столбы (Гибралтарский пролив). Быть может, инфант слыхал от работорговцев-мавров, что по ту сторону Libya deserta* — Западной Сахары — лежит «страна изобилия» — bilat ghana, и правда, на карту, составленную в 1150 году космографом-арабом для норманнского короля Роджера II[17], под названием bilat ghana совершенно правильно нанесена нынешняя Гвинея. Итак, возможно, что Энрике, благодаря опытным разведчикам, лучше был осведомлен о подлинных очертаниях Африки, нежели ученые-географы, считавшие непреложной истиной лишь сочинения Птолемея и в конце концов объявившие пустым вымыслом описания Марко Поло и Ибн-Батуты[18]. Но подлинно высокоморальное значение инфанта Энрике в том, что одновременно с величием цели он осознал и трудность ее достижения; благородное смирение заставило его понять, что сам он не увидит, как сбудется его мечта, ибо срок больший, чем человеческая жизнь, потребуется для подготовки столь гигантского предприятия. Как было отважиться в те времена на плавание из Португалии в Индию без знания океана, без хорошо оснащенных кораблей? Ведь невообразимо примитивны были в эпоху, когда Энрике приступил к осуществлению своего замысла, познания европейцев в географии и мореходстве. В страшные столетия духовного мрака, наступившие вслед за падением Римской империи, люди Средневековья почти полностью перезабыли все, что финикийцы, римляне, греки узнали во время своих смелых странствий; неправдоподобным вымыслом казалось в ту эпоху пространственного самоограничения, что некий Александр достиг границ Афганистана, пробрался в самое сердце Индии; утеряны были превосходные карты и географические описания римлян, в запустение пришли их военные дороги, исчезли верстовые камни, отмечавшие пути в глубь Британии и Вифинии[19], не осталось следа от образцового римского систематизирования политических и географических сведений; люди разучились странствовать, страсть к открытиям угасла, в упадок пришло искусство кораблевождения. Не ведая далеких дерзновенных целей, без верных компасов,

* Пустынной Ливии (*лат.*).

без правильных карт опасливо пробираются вдоль берегов, от гавани к гавани, утлые суденышки, в вечном страхе перед бурями и грозными пиратами. При таком упадке космографии, со столь жалкими кораблями еще не время было усмирять океаны, покорять заморские царства. Долгие годы самоотвержения потребуются на то, чтобы наверстать упущенное за столетия долгой спячки. И Энрике — в этом его величие — решился посвятить свою жизнь грядущему подвигу.

Лишь несколько полуразвалившихся стен сохранилось от замка, воздвигнутого на мысе Сагриш инфантом Энрике и впоследствии разграбленного и разрушенного неблагодарным наследником его познаний Фрэнсисом Дрейком. В наши дни сквозь пелену и туманы легенд почти невозможно с точностью установить, каким образом инфант Энрике разрабатывал свои планы завоевания мира Португалией. Согласно, быть может, романтизирующим сообщениям португальских хроник, он повелел доставить себе книги и атласы со всех частей света, призвал арабских и еврейских ученых и поручил им изготовление более точных навигационных приборов и таблиц. Каждого моряка, каждого капитана, возвратившегося из плавания, он зазывал к себе и подробно расспрашивал. Все эти сведения тщательно хранились в секретном архиве, и в то же время он снаряжал целый ряд экспедиций. Неустанно содействовал инфант Энрике развитию кораблестроения; за несколько лет прежние barcas — небольшие открытые рыбачьи лодки, команда которых состоит из восемнадцати человек, — превращаются в настоящее naxs — устойчивые корабли водоизмещением в восемьдесят, даже сто тонн, способные и в бурную погоду плавать в открытом море. Этот новый, годный для дальнего плавания тип корабля обусловил и возникновение нового типа моряков. На помощь кормчему является «мастер астрологии» — специалист по навигационному делу, умеющий разбираться в портуланах[20], определять девиацию компаса, отмечать на карте меридианы. Теория и практика творчески сливаются воедино, и постепенно в этих экспедициях из простых рыбаков и матросов вырастает новое племя мореходов и исследователей, дела которых довершатся в грядущем. Как Филипп Македонский оставил в наследство сыну

Александру непобедимую фалангу для завоевания мира, так Энрике для завоевания океана оставляет своей Португалии наиболее совершенно оборудованные суда своего времени и превосходнейших моряков.

Но трагедия предтеч в том, что они умирают у порога обетованной земли, не увидев ее собственными глазами. Энрике не дожил ни до одного из великих открытий, обессмертивших его отечество в истории познания вселенной. Ко времени его кончины (1460) вовне, в географическом пространстве, еще не достигнуты хоть сколько-нибудь ощутимые успехи. Прославленное открытие Азорских островов[21] и Мадейры[22] было, в сущности, всего только нахождением их вновь (уже в 1351 году они были отмечены в Лаврентийской портулане). Продвигаясь вдоль западного берега Африки, корабли инфанта не достигли даже экватора; завязалась только малозначительная и не особенно похвальная торговля белой и по преимуществу «черной» слоновой костью — иными словами, на сенегальском побережье массами похищают негров, чтобы затем продать их на невольничьем рынке в Лиссабоне, да еще находят кое-где немного золотого песку; этот жалкий, не слишком славный почин — вот все, что довелось увидеть Энрике из своего заветного дела. Но в действительности решающий успех уже достигнут. Ибо не в обширности пройденного пространства заключалась первая победа португальских мореходов, а в том, что было ими свершено в духовной сфере: в развитии предприимчивости, в уничтожении зловредного поверья. В течение многих веков моряки боязливо сообщали друг другу, будто за мысом Нон[23] (что означает мыс «Дальше пути нет») судоходство невозможно. За ним сразу начинается «зеленое море мрака», и горе кораблю, который осмелится проникнуть в эти роковые воды. От солнечного зноя в тех краях море кипит и клокочет. Обшивка корабля и паруса загораются; всякий христианин, дерзнувший проникнуть в это «царство сатаны», пустынное, как земля вокруг горловины вулкана, тотчас же превращается в негра. Такой непреодолимый ужас перед плаванием в южных морях породили эти россказни, что папе, дабы хоть как-нибудь доставить инфанту моряков, пришлось обещать каждому участнику экспедиций полное отпущение грехов;

только после этого удалось завербовать нескольких смельчаков, согласных отправиться в неведомые края. И как же ликовали португальцы, когда Жил Эанеш[24] в 1434 году обогнул дотоле слывший неодолимым мыс Нон и уже из Гвинеи сообщил, что достославный Птолемей оказался отменным вралем, «ибо плыть под парусами здесь так же легко, как и у нас дома, а страна эта богата и всего в ней в изобилии». Теперь дело сдвинулось с мертвой точки; Португалии уже не приходится с великим трудом разыскивать моряков — со всех сторон являются искатели приключений, люди, готовые на все. С каждым новым, благополучно завершенным путешествием отвага мореходов растет, и вдруг налицо оказывается целое поколение молодых людей, превыше жизни ценящих приключения. «Navigare necesse est, vivere non est necesse*» — эта древняя матросская поговорка вновь обретает власть над человеческими душами. А когда новое поколение сплоченно и решительно приступает к делу — мир меняет свой облик.

Поэтому смерть Энрике означала лишь последнюю краткую передышку перед решающим взлетом. Едва успел взойти на престол деятельный король Жуан II, как начался подъем, превзошедший всякие ожидания. Жалкий черепаший шаг сменяется стремительным бегом, львиными прыжками. Если вчера еще великим достижением считалось, что за двенадцать лет плавания были пройдены немногие мили до мыса Боядор и еще через двенадцать лет медленного продвижения суда стали благополучно доходить до Зеленого Мыса[25], то сегодня скачок вперед в сто, в пятьсот миль уже не является необычайным. Быть может, только наше поколение, пережившее завоевание воздуха, и мы, тоже ликовавшие, когда аэроплан, поднявшись над Марсовым полем[26], пролетал по воздуху три, пять, десять километров, а спустя десятилетие уже видевшие перелеты над материками и океанами, — мы одни способны в полной мере понять тот пылкий интерес, то бурное ликование, с которым вся Европа наблюдала за внезапным стремительным проникновением Португалии в неведомую даль. В 1471 году достигнут экватор, в 1484 году Дьогу Кам[27] высаживается у самого устья

* Плавать по морю необходимо, жить не так уж необходимо (*лат.*).

Конго, и, наконец, в 1486 году сбывается пророческая мечта Энрике: португальский моряк Бартоломеу Диаш достигает южной оконечности Африки, мыса Доброй Надежды, который он поначалу, из-за встреченного там жестокого шторма, нарекает «Cabo Tormentoso» — «мысом Бурь». Но хотя ураган в клочья рвет паруса и расщепляет мачту, отважный конкистадор смело продвигается вперед. Он уже достиг восточного побережья Африки, откуда мусульманские лоцманы с легкостью могли бы довести его до Индии, как вдруг взбунтовавшиеся матросы заявляют: на этот раз хватит. С разбитым сердцем вынужден Бартоломеу Диаш повернуть обратно, не по своей вине лишившись славы быть первым европейцем, проложившим морокой путь в Индию; другой португалец, Васко да Гама, будет воспет за этот геройский подвиг в бессмертной поэме Камоэнса. Как всегда, зачинатель, трагический основоположник, забыт для более удачливого завершителя. И все же решающее дело сделано! Географические очертания Африки точно установлены; вопреки Птолемею впервые показано и доказано, что свободный путь в Индию существует. Через много лет после смерти своего наставника мечту Энрике осуществили его ученики и последователи.

С изумлением и завистью обращаются теперь взоры всего мира на это незаметное, забившееся в крайний угол Европы племя мореходов. Покуда великие державы — Франция, Германия, Италия — истребляли друг друга в бессмысленной резне, Португалия, эта золушка Европы, тысячекратно увеличила свои владения, и уже никакими усилиями не догнать ее безмерных успехов. Почти внезапно Португалия стала первой морской державой мира. Достижения ее моряков закрепили за ней не только новые области, но и целые материки. Еще одно десятилетие — и самая малая из всех европейских наций будет притязать на владычество и управление пространствами, превосходящими пространства Римской империи в период ее наибольшего могущества.

Разумеется, проведение в жизнь столь непомерных притязаний должно было очень быстро истощить силы Португалии. И ребенок сообразил бы, что крохотная, насчитывающая не более полутора миллионов жителей страна не сможет надолго удержать в руках всю Африку, Индию и Бразилию,

колонизировать их, управлять ими или хотя бы даже только монополизировать торговлю этих стран, и менее всего сможет на вечные времена оградить их от посягательств других наций. Капле масла не успокоить бушующего моря; страна величиной с булавочную головку не может навсегда подчинить себе в сотни тысяч раз бóльшие страны. Итак, с точки зрения разума беспредельная экспансия Португалии — нелепость, опаснейшее донкихотство. Но героическое всегда иррационально и антирационально; когда отдельный человек или народ дерзает взять на себя задачу, превышающую его силы, силы эти возрастают до неслыханных размеров. Пожалуй, ни одной нации не доводилось так великолепно сосредоточить в одном мгновенном и победоносном усилии свои силы, как это осуществила Португалия на исходе XV века. Не только собственного Александра и собственных аргонавтов в лице Албукерке[28], Васко да Гамы и Магеллана внезапно породила эта страна, но и собственного Гомера — Камоэнса, собственного Тита Ливия — Барруша[29]. Словно из-под земли появляются ученые, зодчие, предприимчивые купцы; подобно Греции при Перикле, Англии в царствование Елизаветы, Франции при Наполеоне, здесь целый народ осуществляет на всех поприщах свой сокровенный замысел и являет его как зримый подвиг взорам всего мира. В продолжение одного незабываемого часа всемирной истории Португалия была первой нацией Европы, предводительницей человечества.

Но каждое великое деяние отдельного народа совершается для всех народов. Все они чувствуют, что это первое вторжение в неизвестность в то же время опрокидывает общепринятые дотоле мерила, понятия, представления о дальности, и вот при всех дворах, во всех университетах с лихорадочным нетерпением следят за новыми вестями из Лиссабона. В силу какой-то чудесной прозорливости Европа постигает творческие возможности этого расширившего рамки мира великого подвига португальцев, постигает, что вскоре мореходство и открытия новых стран перестроят мир решительнее, чем все войны и осадные орудия, что долгая эпоха Средневековья кончилась и начинается новая эра — «новое время», которое будет мыслить и созидать в иных пространственных масштабах. Флорентийский гуманист Полициано[30], пред-

ставитель мирной научной мысли, в сознании величия этой исторической минуты поет хвалу Португалии, и в его вдохновенных словах звучит благодарность всей просвещенной Европы: «Не только шагнула она далеко за Столбы Геркулеса и укротила бушующий океан, — она восстановила нарушенное дотоле единство обитаемого мира. Какие новые возможности, какие экономические выгоды, какое возвышение знаний, какое подтверждение выводов античной науки, взятых под сомнение и отвергнутых, сулит это нам! Новые страны, новые моря, новые миры (alii mundi) встают из векового мрака. Отныне Португалия — хранитель, страж нового мира».

Ошеломляющее событие прерывает грандиозное продвижение Португалии на восток. Кажется, что «другой мир» уже достигнут, что королю Жуану обеспечены корона и все сокровища Индии, ибо после того, как португальские моряки обогнули мыс Доброй Надежды, никто уже не может опередить Португалию и ни одна из европейских держав не смеет даже следовать за ней по этому закрепленному за нею пути. Еще Энрике Мореплаватель предусмотрительно выхлопотал у папы буллу, отдававшую все земли, моря и острова, которые будут открыты за мысом Боядор, в полную, исключительную собственность Португалии, и трое пап, сменившихся с того времени, подтвердили эту своеобразную «дарственную запись», одним росчерком пера признавшую весь еще неведомый Восток с миллионами его обитателей законным владением династии Визеу. Итак, Португалии, и только Португалии, подчинены все новые миры. С такими незыблемыми гарантиями в руках люди обычно не обнаруживают большой склонности к рискованным предприятиям; поэтому вовсе не так недальновидно и странно, как это a posteriori* считает большинство историков, что beatus possidens** король Жуан II не проявил интереса к странному проекту безвестного генуэзца, страстно требовавшего целого флота para buscar el levante por el ponente, чтобы с запада добраться до Индии. Правда, Христофора Колумба любезно выслушивают в Лиссабонском дворце, наотрез ему не отказывают. Но

---

* Задним числом (*лат.*).

** Счастливый обладатель (*лат.*).

там слишком хорошо помнят, что все экспедиции на якобы расположенные к западу между Европой и Индией легендарные острова Антилию и Бразиле кончались плачевными неудачами. Да и чего ради рисковать полновесными португальскими дукатами для поисков весьма сомнительного пути в Индию, когда после многолетних усилий верный путь уже найден и рабочие на корабельных верфях у берегов Тежу день и ночь трудятся над постройкой большого флота, который, обогнув мыс Бурь, прямиком пойдет к Индии?

Поэтому, как камень, брошенный в окно, ворвалось в Лиссабонский дворец ошеломляющее известие, что хвастливый генуэзский авантюрист действительно пересек под испанским флагом «Oceano tenebroso»* и спустя каких-нибудь пять недель плавания в западном направлении наткнулся на землю. Чудо свершилось! Нежданно-негаданно сбылось мистическое пророчество из «Медеи» Сенеки, долгие годы волновавшее умы мореплавателей.

Venieni annis
Saecula seris, qui bus Oceanus
Vincula rerum laxet et ingens
Pateat tellus, Typhis que novos
Detegat orbes, nec sit terris
Ultima Thula.

Промчатся года, и чрез много веков
Океан разрешит оковы вещей,
И огромная явится взорам земля,
И новый Тифис[31] откроет моря,
И Туле[32] не будет пределом земли[33].

Правда, Колумб, новый «кормчий аргонавтов», и не подозревает, что он открыл новую часть света. До конца дней своих этот упрямый фантазер упорствует в убеждении, что он достиг материка Азии и, держа от своей Эспаньолы[34] курс на запад, мог бы через несколько дней высадиться в устье Ганга. А этого-то как раз Португалия смертельно страшится. Чем поможет Португалии папская булла, отдающая ей все земли, откры-

* Океан тьмы (*ит.*).

тые в восточном направлении, если Испания на более кратком западном пути в последнюю минуту обгонит ее и захватит Индию? Тогда плоды пятидесятилетних трудов Энрике, сорокалетних усилий его продолжателей превратятся в ничто. Индия будет потеряна для Португалии вследствие сумасбродно-смелого предприятия проклятого генуэзца. Если Португалия хочет сохранить свое господство, свое преимущественное право на Индию, ей остается только с оружием в руках выступить против внезапно объявившегося противника.

К счастью, папа устраняет грозящую опасность. Португалия и Испания — наиболее любимые и милые его сердцу чада, это единственные нации, чьи короли никогда не дерзали восставать против его духовного авторитета. Они воевали с маврами и изгнали неверных; огнем и мечом искореняют они в своих государствах всякую ересь; нигде папская инквизиция не находит столь ревностных пособников в преследовании мавров, маранов[35] и евреев. Нет, папа не допустит вражды между любимыми чадами. Поэтому он решает все еще не открытые страны мира попросту поделить между Испанией и Португалией, притом не в качестве «сфер влияния», как это говорится на лицемерном языке современной дипломатии, нет: папа, не мудрствуя лукаво, дарит своею властью наместника Христова обоим этим государствам все еще неизвестные народы, страны, острова и моря. Он берет шар земной и, как яблоко, только не ножом, а буллой от 4 мая 1493 года режет его пополам. Линия разреза начинается в ста левгах (старинная морская мера протяжения) от островов Зеленого Мыса. Все еще не открытые страны, расположенные западнее этой линии, отныне будут принадлежать возлюбленному чаду — Испании; расположенные восточнее — возлюбленному чаду — Португалии.

Сперва оба детища изъявляют согласие и благодарят за щедрый подарок. Но вскоре Португалия обнаруживает некоторое беспокойство и просит, чтобы линия раздела была еще немного передвинута на запад. Эта просьба уважена договором, заключенным 7 июня 1494 года в Тордесильясе, по которому линия раздела была перемещена на двести семьдесят левг к западу (в силу чего Португалии позднее достанется не открытая еще в ту пору Бразилия).

Какой бы смехотворной ни казалась на первый взгляд щедрость, с которой чуть ли не весь мир одним росчерком пера даровался двум нациям без учета всех остальных, все же это мирное разрешение конфликта следует рассматривать как один из редких в истории актов благоразумия, когда спор разрешается не вооруженной силой, а путем добровольного соглашения. Заключенный в Тордесильясе договор на годы, на десятилетия предотвратил всякую возможность колониальной войны между Испанией и Португалией, хотя само решение вопроса было и осталось лишь временным. Ведь когда яблоко разрезают ножом, линия разреза должна проступить и на противоположной, незримой его части. Но в какой же половине находятся столь долго искомые острова драгоценных пряностей — к востоку от линии раздела или же к западу, на противоположном полушарии? В части, предоставленной Португалии, или в будущих владениях Испании? В данный момент ни папа, ни короли, ни ученые не могут ответить на этот вопрос, ибо никто еще не измерил окружности земли, а церковь и вовсе не соглашается признать ее шарообразность. Но до окончательного разрешения спора обеим нациям предстоит еще немало хлопот, чтобы управиться с гигантской подачкой, которую им кинула судьба: маленькой Испании — необъятную Америку, крохотной Португалии — всю Индию и Африку.

Неслыханная удача Колумба сначала вызывает в Европе беспредельное изумление, но затем начинается такая лихорадка открытий и приключений, какой еще не ведал наш старый мир. Ведь успех одного отважного человека всегда побуждает к рвению и мужеству целое поколение. Все, что в Европе недовольно своим положением и слишком нетерпеливо, чтобы ждать, — младшие сыновья, обойденные офицеры, побочные дети знатных господ и темные личности, разыскиваемые правосудием, — все устремляется в Новый Свет. Правители, купцы, спекулянты напрягают всю свою энергию, чтобы побольше снарядить кораблей; приходится силой обороняться от авантюристов и любителей легкой наживы, с ножом в руках требующих скорейшей доставки их в страну золота. Если инфанту Энрике, чтобы залучить на корабль

хоть минимальное число матросов, приходилось испрашивать у папы отпущение грехов для всех участников своих экспедиций, то теперь целые селения устремляются в гавани, капитаны и судовладельцы не знают, как спастись от наплыва желающих идти в матросы. Экспедиции непрерывно следуют одна за другой, и вот действительно, словно внезапно спала густая завеса тумана, повсюду — на севере, на юге, на востоке, на западе — возникают новые острова, новые страны: одни, скованные льдом, другие, заросшие пальмами. В течение двух-трех десятилетий несколько сотен маленьких кораблей, выходящих из Кадиса, Палоса, Лиссабона, открывают больше неведомых земель, чем открыло человечество за сотни тысяч лет своего существования. Незабываемый, несравненный календарь той эпохи открытий. В 1498 году Васко да Гама, «служа Господу и на пользу португальской короне», как с гордостью сообщает король Мануэл[36], достигает Индии и высаживается в Каликуте[37]; в том же году капитан английской службы Кабот открывает Ньюфаундленд и тем самым — побережье Северной Америки. Еще год — и одновременно, но независимо друг от друга — Пинсон[38] под испанским флагом, Кабрал[39] под португальским открывают Бразилию (1499); в это же время Гаспар Кортереал[40], идя по стопам викингов, через пятьсот лет после них входит в Лабрадор. Открытие следует за открытием. В самом начале века две португальские экспедиции, одну из которых сопровождает Америго Веспуччи, спускаются вдоль берегов Южной Америки почти до Рио-де-Ла-Плата; в 1506 году португальцы открывают Мадагаскар, в 1507 году — остров Маврикия, в 1509 году они достигают Малакки, а в 1511 году берут ее приступом; таким образом, ключ к Малайскому архипелагу оказывается в их руках. В 1512 году Понсе де Леон[41] попадает во Флориду, в 1513 году с Дарьенских высот первому европейцу, Нуньесу де Бальбоа[42], открывается вид на Тихий океан. С этой минуты для человечества уже не существует неведомых морей. За сравнительно малый отрезок времени — одно столетние — пройденное европейскими кораблями пространство увеличилось не стократно, нет, тысячекратно! Если в 1418 году, во времена инфанта Энрике, весть о том, что первые barcas достигли Мадейры, вызвала восторженное изум-

ление, то в 1518 году португальские суда — сопоставьте по карте эти расстояния — пристают в Кантоне и Японии; скоро путешествие в Индию будет считаться менее рискованным, чем еще недавно плавание до мыса Боядор. При столь стремительных темпах мир меняет свой облик от года к году, от месяца к месяцу. День и ночь сидят в Аугсбурге за работой гравировщики карт, и космографы не в силах справиться с огромным количеством заказов. У них вырывают из рук влажные, еще не раскрашенные оттиски. Печатники не успевают издавать для книжного рынка книги с описаниями путешествий и атласы — все жаждут сведений о Mundus novus*. Но едва только успеют космографы тщательно и точно, сообразуясь с последними данными, выгравировать карту мира, как уже поступают новые данные, новые сведения. Все опрокинуто, все надо начинать заново, ибо то, что считали островом, оказалось частью материка, то, что принимали за Индию, — новым континентом. Приходится наносить на карту новые реки, новые берега, новые горы. И что же? Не успеют граверы управиться с новой картой, как уже приходится составлять другую — исправленную, измененную, дополненную.

Никогда, ни до, ни после, не знали география, космография, картография таких бешеных, опьяняющих, победоносных темпов развития, как в эти пятьдесят лет, когда, впервые с тех пор, как люди живут, дышат и мыслят, были окончательно определены форма и объем Земли, когда человечество впервые познало круглую планету, на которой оно уже столько тысячелетий вращается во Вселенной. И все эти беспримерные успехи достигнуты одним-единственным поколением: эти мореходы приняли на себя за всех последующих все опасности неведомых морей, эти конкистадоры проложили все пути, эти герои разрешили все — или почти все — задачи. Остается еще только один подвиг — последний, прекраснейший, труднейший: на одном и том же корабле обогнуть весь шар земной и тем самым, наперекор всем космологам и богословам прошедших времен, измерить и доказать шарообразность нашей Земли. Этот подвиг станет заветным помыслом и уделом Фернао де Магельяеша, в истории именуемого Магелланом.

---

* Новый свет (*лат.*).

Магеллан в Индии

Март 1505 года — июнь 1512 года

Первые португальские корабли, отплывшие из устья Тежу в неведомую даль, были предназначены только к открытию новых земель: последующие старались мирно завязывать торговлю со вновь открытыми странами. Третья флотилия уже снаряжена по-военному, и с этой даты, 25 марта 1505 года, прочно устанавливается тот трехтактный ритм, который будет господствовать на протяжении всей начавшейся отныне колониальной эпохи. Веками будет повторяться все тот же процесс: сперва основывается фактория, затем — якобы для защиты ее от нападений — воздвигается крепость. Сперва ведется мирная меновая торговля с туземными властителями, затем, как только налицо окажется достаточное количество солдат, у князьков попросту отнимают их владения, а следовательно, и все их добро. Не пройдет и десятка лет, как опьяненная первыми успехами Португалия забудет, что первоначальные ее притязания сводились к скромному участию в торговле восточными пряностями: в удачливой игре благие намерения быстро исчезают. С того дня, как Васко да Гама высадился в Индии, Португалия немедленно принялась оттеснять от нее все другие народы. Ни с кем не считаясь, рассматривает она всю

Африку, Индию и Бразилию исключительно как свою собственность. От Гибралтара до Сингапура и Китая не должен отныне плавать ни один чужеземный корабль; на половине земного шара никто, кроме подданных самой маленькой страны маленькой Европы, не смеет заниматься торговлей.

Потому столь величественное зрелище и являет собою 25 марта 1505 года, когда первый военный флот Португалии, которому предстоит завоевать эту новую, величайшую в мире империю, покидает Лиссабонскую гавань, — зрелище, которое можно сравнить разве лишь с переправой Александра Великого через Геллеспонт.

Ведь и здесь задача столь же непомерна. Ведь и этот флот отправляется в плавание не за тем, чтобы подчинить Португалии какую-нибудь одну страну, один народ, а чтобы покорить целый мир. Двадцать кораблей стоят в гавани; с поднятыми парусами ждут они королевского приказа поднять якоря. И это уже не корабли времен Энрике, не открытые баркасы, а широкие, тяжелые галионы с надстройками на носу и на корме, мощные корабли с тремя, а то и четырьмя мачтами и многочисленной командой. Кроме нескольких сотен обученных военному делу матросов, на корабле находится не менее тысячи пятисот воинов в латах и полном вооружении, человек двести пушкарей, а сверх того еще плотники и всякого рода ремесленники, которые по прибытии в Индию немедленно начнут строить новые суда.

С первого взгляда должен уразуметь каждый, что перед столь гигантской эскадрой и задача поставлена гигантская — окончательное покорение Востока. Недаром адмиралу Франсишку д'Алмейде[43] пожалован титул вице-короля Индии, недаром самый прославленный герой и мореплаватель Португалии, Васко да Гама, «адмирал индийских морей», самолично выбирал и испытывал снаряжение. Военный характер задачи Алмейды несомненен. Алмейде поручено сровнять с землей все мусульманские торговые города Индии и Африки, во всех опорных пунктах воздвигнуть крепости и оставить там гарнизоны. Ему поручено — здесь впервые предвосхищается руководящая идея английской политики — утвердиться во всех исходных и транзитных пунктах, запереть все проливы от Гибралтара до Сингапу-

ра и тем самым пресечь торговлю других стран. Далее вице-королю предписано уничтожить морские силы египетского султана и индийских раджей и взять под такой строгий контроль все гавани, чтобы «с лета от рождества Христова тысяча пятьсот пятого» ни один корабль не португальского флага не мог перевезти и зернышка пряностей. С этой военной задачей тесно переплетается другая — идеологическая, религиозная; во всех завоеванных странах распространить христианство. Вот почему отплытие этого военного флота сопровождается таким же церемониалом, как выступление в крестовый поход. В соборе король вручает Франсишку д'Алмейде новое знамя из белого дамаста с вытканным на нем крестом Господним, которому предстоит победно развеваться над языческими и мусульманскими странами. Коленопреклоненно принимает его адмирал, и, также преклонив колени, все тысяча пятьсот воинов, исповедавшись и приняв причастие, присягают на верность своему властелину, королю португальскому, равно как и небесному владыке, чье царствие им надлежит утвердить в заморских странах. Торжественно, словно религиозная процессия, шествуют они через весь город к гавани; затем орудийные залпы гремят в знак прощания, и корабли величаво скользят вниз по течению Тежу в открытое море, которое их адмиралу надлежит — от края до края — подчинить Португалии.

Среди тысячи пятисот воинов, с поднятой рукой приносящих клятву верности у алтаря, преклоняет колена и двадцатичетырехлетний юноша, носитель безвестного доселе имени Фернао де Магельяеш. О его происхождении мы знаем только, что он родился около 1480 года. Место его рождения уже спорно. Указания позднейших хронистов на городок Саброза, в провинции Траз-уж-Монтиш, опровергнуты новейшими исследованиями, признавшими завещание, из которого это сообщение почерпнуто, подложным; наиболее вероятным в конце концов является предположение, что Магеллан родился в Опорто, и о семье его мы знаем только то, что она принадлежала к дворянству, правда, лишь к четвертому его разряду — «fidalgos de cota de armes». Все же такое происхождение давало Магеллану право иметь наследствен-

ный герб и открывало ему доступ ко двору. Предполагают, что в ранней юности он был пажом королевы Элеоноры[44], из чего, однако, не явствует, что в эти годы, покрытые мраком неизвестности, его положение при дворе было хоть сколько-нибудь значительным. Ведь когда двадцатичетырехлетний идальго поступает во флот, он всего-навсего sobresaliente (сверхштатный), один из тысячи пятисот рядовых воинов, что живут, питаются, спят в кубрике вместе с матросами и юнгами, всего только один из тысяч «неизвестных солдат», отправляющихся на войну за покорение мира, в которой всегда там, где погибают тысячи, остается в живых лишь десяток-другой, и всегда только одного венчает бессмертная слава сообща совершенного подвига.

Во время этого плавания Магеллан — один из тысячи пятисот рядовых, не более. Напрасно стали бы мы разыскивать его имя в летописях индийской войны, и с достоверностью обо всех этих годах можно только сказать, что для будущего великого мореплавателя они были незаменимой школой.

С безвестным sobresaliente особенно не церемонятся. Его посылают на любую работу: он должен зарифлять паруса во время бури и откачивать воду; сегодня его посылают на штурм города, завтра он под палящим солнцем роет песок на постройке крепости. Он таскает тяжести и охраняет фактории, сражается на воде и на суше; он обязан ловко орудовать лотом и мечом, уметь повиноваться и повелевать. Но, участвуя во всем, он во все постепенно начинает вникать и становится одновременно и воином, и моряком, и купцом, и знатоком людей, стран, морей, созвездий.

И наконец судьба приобщает этого юношу к великим событиям, которые на десятки и сотни лет определят мировое значение его родины и изменят карту Земли. Ибо после нескольких мелких стычек, напоминающих скорее разбойничьи налеты, чем честные бои, Магеллан получает подлинное боевое крещение в битве при Каннаноре[45] (16 марта 1506 года).

Битва при Каннаноре является поворотным пунктом истории португальских завоеваний. Могущественный каликутский владыка приветливо встретил Васко да Гаму после

его первой высадки и выразил готовность вступить в торговые сношения с этим неведомым народом. Но вскоре он понял, что португальцы, через несколько лет явившиеся снова на больших и лучше вооруженных судах, явно стремятся к господству над всей Индией.

С ужасом видят индийские и мусульманские купцы, сколь прожорливая щука вторглась в их тихую заводь. Ведь эти чужеземцы одним ударом покорили все моря; ни один корабль не решается покинуть гавань из страха перед этими жестокими пиратами; торговля пряностями замирает. В Египет больше не отправляются караваны. Вплоть до венецианского Риальто чувствуется, что чья-то суровая рука перервала нить, соединяющую Восток и Запад.

Египетский султан, лишившийся дохода от торговых пошлин, пускает в ход угрозы. Он уведомляет папу, что, если португальцы не прекратят грабительского хозяйничанья в индийских водах, он будет вынужден в отместку разрушить Гроб Господень в Иерусалиме. Но ни папа, ни император, ни короли Европы не в силах обуздать захватнических вожделений Португалии. Поэтому пострадавшим остается только объединиться для своевременного отпора португальцам, покуда те еще окончательно не утвердились в Индии. Наступление подготовляет каликутский владыка при тайной поддержке египетского султана, а по-видимому, также и Венецианской республики, которая — ведь золото сильнее кровных уз — тайком посылает в Каликут оружейников и пушкарей. Готовится внезапный и сокрушительный удар по христианскому флоту.

Однако часто бывает, что присутствие духа и энергия какого-нибудь второстепенного лица на столетия определяет ход истории. Счастливая случайность спасает португальцев. В те времена по свету скитался отважный, равно привлекательный как своим мужеством, так и непосредственностью итальянский искатель приключений по имени Лодовико Вартема[46]. Не страсть к наживе, не честолюбие влекут молодого итальянца в далекие края, но врожденная непреоборимая любовь к странствиям. Без ложного стыда этот бродяга по призванию заявляет, что «по малому своему в науках разумению и не будучи расположен сидеть над

книгами» он решил попытаться «самолично и собственными своими глазами увидеть наиразличнейшие места на земле, ибо словам одного очевидца больше веры давать надлежит, нежели всем россказням, понаслышке передаваемым».

Первым из неверных прокрадывается в запретный город Мекку отважный Вартема (его описание Каабы и поныне еще считается классическим) и затем, после многих приключений, добирается не только до Индии, Суматры и Борнео, где до него побывал уже Марко Поло, но первым из европейцев (и это сыграет немалую роль в подвиге Магеллана) и до заветных Islas de la especeria*. На обратном пути, в Каликуте, переодетый дервишем Вартема узнает от двух ренегатов-христиан о готовящемся нападении каликутского владыки. Из христианской солидарности он с опасностью для жизни пробирается к португальцам и, к счастью еще во время, успевает предостеречь их. Когда 16 марта 1506 года двести каликутских кораблей намереваются врасплох напасть на одиннадцать кораблей[47] португальцев, те уже стоят в полной боевой готовности.

Это самый кровопролитный из всех боев, принятых вице-королем: восьмьюдесятью убитыми и двумя сотнями раненых (огромная цифра для первых колониальных войн) расплачиваются португальцы за свою победу, правда победу, окончательно утвердившую за ними господство над всем побережьем Индии.

Среди двухсот раненых находится и Магеллан; как всегда в эти годы безвестности, его удел — получать только ранения, но не знаки отличия. Вскоре его вместе с другими ранеными переправляют в Африку; там его след теряется, ибо кому придет в голову день за днем протоколировать жизнь простого sobresaliente? По-видимому, он некоторое время прожил в Софале[48], а затем, вероятно в качестве сопровождающего транспорт пряностей, отбыл на родину. Возможно (в этом пункте хроники разноречивы), что летом 1507 года он возвратился в Лиссабон на одном судне с Вартемой. Но дальние края уже завладели сердцем мореплавателя. Чуждой кажется ему Португалия, и весь его недолгий отпуск превращает-

---

* Острова пряностей (*исп.*) (Молуккские острова).

ся в нетерпеливое ожидание следующей индийской эскадры, которая доставит Магеллана на его настоящую родину: в мир дерзновенных начинаний.

Перед этой новой эскадрой, в составе которой Магеллан возвращается в Индию, стоит особая задача. Достославный спутник Магеллана, Лодовико Вартема, несомненно, доложил при дворе о богатствах города Малакки и дал точные сведения о столь долго искомых «Островах пряностей», которые он, первый из европейцев и христиан, узрел ipsis oculi*. Его рассказы убеждают португальский двор, что покорение Индии останется незавершенным, а захват ее богатств неполным, пока не будет завоевана сокровищница всех пряностей — Islas de la especéria. Но для этого нужно сначала овладеть ключом, их замыкающим, забрать в свои руки Малаккский пролив и город Малакку (нынешний Сингапур, стратегическое значение которого не укрылось от англичан). Согласно испытанным лицемерным методам, португальцы, однако, не сразу посылают военную эскадру, а сперва снаряжают четыре корабля под начальством Лопиша да Сикейры, которому поручено осторожно подобраться к Малакке и в обличье мирного купца произвести разведку берега.

Небольшая флотилия без особых приключений достигает Индии в апреле 1509 года. Плавание в Каликут, каких-нибудь десять лет назад провозглашенное беспримерным подвигом Васко да Гамы и прославленное летописцами и поэтами, теперь под силу любому капитану португальского торгового флота. От Лиссабона до Момбасы, от Момбасы до Индии известен каждый риф, каждая бухта. Уже нет нужды ни в лоцманах, ни в «мастерах астрономии». И только когда Сикейра, выйдя 19 августа из Кочинской гавани, берет курс на восток, португальские суда снова вступают в неизвестные воды.

После трехнедельного плавания, 11 сентября 1509 года, корабли португальцев впервые приближаются к Малаккской гавани. Уже издали убеждаются они, что добрый Вартема не соврал и не преувеличил, говоря, будто в этой гава-

---

* Своими глазами (*лат.*).

ни «больше кораблей бросает якорь, нежели в каком-либо ином месте мира». Парус к парусу теснятся на широком рейде большие и малые, белые и пестрые, малайские, китайские, сиамские лодки, ялики и джонки. Сингапурский пролив в силу своего географического положения не мог не стать важнейшей перевалочной гаванью Востока. Любой корабль, направляющийся с востока на запад, с севера на юг, из Индии в Китай или с Молуккских островов в Персию, должен пройти этот Гибралтар Востока. Обмен всевозможными товарами происходит в этом «складочном месте»: здесь — гвоздика с Молуккских островов и цейлонские рубины, китайский фарфор и сиамская слоновая кость, кашемир из Бенгалии и сандаловое дерево с Тимора, арабские клинки из Дамаска, малабарский перец и невольники с острова Борнео. Вавилонское столпотворение рас, племен, языков происходит на этом главном рынке Востока, где над путаницей деревянных лачуг мощно вздымаются ослепительно белые дворец и мечеть.

Изумленно глядят португальцы со своих кораблей на огромный город; эта сверкающая на ярком солнце драгоценность Востока, которая должна стать прекраснейшим из прекрасных украшений в индийской короне португальского владыки, возбуждает их алчность. Изумленный и обеспокоенный, в свою очередь смотрит малаккский властитель и на грозные корабли чужеземцев. Так вот они, эти разбойники, не признающие обрезания! Теперь проклятое племя нашло дорогу и в Малакку! Давно уже на многие тысячи миль распространилась весть о сражениях и побоищах Алмейды и Албукерке. В Малакке знают, что эти страшные лузитане пересекают моря не для мирного торга, подобно водителям сиамских и японских джонок, но чтобы, коварно выждав момент, обосноваться здесь и все разграбить. Наиболее разумным было бы совсем не впускать эти четыре корабля в гавань; ведь когда грабитель уже вошел в дом — все пропало! Но у султана имеются надежные сведения о боевой мощи этих тяжелых пушек, чьи черные безмолвные жерла грозно глядят с укрепленных палубных надстроек португальских судов; он знает, что эти белые разбойники бьются как черти, против них немыслимо устоять. Итак, лучше всего на

ложь ответить ложью, на лицемерную приветливость — притворным радушием, на обман — обманом и первому броситься на противника, прежде чем тот успеет занести руку для смертоносного удара.

С неимоверной пышностью встречает поэтому малаккский султан посланцев Сикейры, с преувеличенной благодарностью принимает их дары. Португальцы — желанные гости, велит он сказать им, они могут торговать здесь сколько угодно. Через несколько дней он прикажет доставить им столько перцу и других пряностей, сколько они смогут погрузить на свои корабли. Он любезно приглашает капитанов на пиршество в свой дворец, и если это приглашение ввиду некоторых предостерегающих указаний и отклоняется, то моряки все же весело и свободно разгуливают по неведомому гостеприимному городу. Блаженство — снова ощущать под ногами твердую почву, развлекаться с податливыми женщинами и больше не спать вповалку в смрадном кубрике или в одной из грязных деревушек, где свиньи и куры ютятся рядом с голыми, звероподобными людьми. Весело болтая, сидят матросы в чайных домиках, бродят по рынкам, наслаждаются крепкими малайскими напитками и свежими фруктами; нигде, с тех пор как они покинули Лиссабон, им не оказывали столь сердечного, радушного приема. Сотни малайцев на маленьких быстроходных лодках снова и снова подвозят съестные припасы к португальским кораблям, с обезьяньей ловкостью карабкаются по снастям, дивятся чужеземным, невиданным предметам. Завязывается оживленный товарообмен, и команда с неудовольствием узнает, что султан уже заготовил обещанный товар и предложил Сикейре на следующее утро прислать к берегу все шлюпки, чтобы еще до захода солнца погрузить на суда неимоверное количество пряностей.

И действительно, Сикейра, обрадованный возможностью быстро доставить драгоценный груз, отправляет на берег все шлюпки с четырех больших кораблей и на них значительную часть команды. Сам он в качестве португальского дворянина считает ниже своего достоинства заниматься торговыми сделками; он остается на борту и играет в шахматы с одним из товарищей — самое разумное занятие на кораб-

ле в томительно жаркий день. На трех других больших судах тоже царит сонная тишина. Но некое странное обстоятельство обращает на себя внимание Гарсиа да Соузы, капитана пятого судна, маленькой каравеллы, входящей в состав экспедиции: он видит, что все большее число малайских лодок шныряет вокруг почти обезлюдевших кораблей, что под предлогом доставки товаров на борт взбирается по вантам все больше и больше обнаженных малайцев.

Наконец у него возникает мысль: не готовит ли медоточивый султан предательское нападение одновременно с моря и с суши?

По счастью, на маленькой каравелле имеется одна не отправленная на берег лодка; Соуза приказывает самому надежному человеку из своей команды как можно скорей добраться до флагманского судна и предупредить капитана. Этот надежнейший из его команды не кто иной, как sobresaliente Магеллан. Быстрыми, сильными взмахами весел направляет он лодку и застает капитана Сикейру беспечно играющим в шахматы. Но Магеллану не нравится, что за спиной Сикейры с неизменными крисами[49] у пояса стоят несколько малайцев-зрителей. Шепотом, предупреждает он Сикейру. Чтобы не возбуждать подозрений тот с необычайным присутствием духа продолжает игру, но велит одному из матросов держать наблюдение с марса и в продолжение всей партии одной рукой держится за шпагу.

Предупреждение Магеллана поспело в последнюю, самую последнюю минуту. Спустя мгновение над дворцом султана взвивается столб дыма — условный знак для одновременного нападения с суши и с моря. К счастью, сидящий на марсе матрос успевает поднять тревогу. Сикейра вскакивает и отшвыривает малайцев в сторону, прежде чем они успевают на него напасть. Горнисты трубят сбор, команда выстраивается на палубе. Пробравшихся на корабли малайцев сбрасывают за борт; теперь лодки с вооруженными малайцами напрасно несутся со всех сторон, чтобы взять на абордаж португальские корабли. Сикейра успел выбрать якоря, а мощные залпы его орудий обращают малайцев в бегство. Благодаря бдительности да Соузы и проворству Магеллана нападение на эскадру не удалось.

Хуже обстоит дело с несчастными, доверчиво отправившимися на берег. Горсть безоружных, рассеянных по всему городу людей — против тысяч коварных врагов. Большинство португальцев полегло на месте, лишь немногим удается добежать до берега. Но слишком поздно: завладев шлюпками, малайцы отрезали им путь на корабли. Один за другим падают португальцы под ударами превосходящего их численностью неприятеля. Только храбрейший из всех еще отбивается — это самый близкий, закадычный друг Магеллана, Франсишку Серрано. Вот он окружен, ранен, обречен на погибель. Но тут Магеллан еще с одним солдатом подоспел на своей лодчонке, бесстрашно рискуя жизнью для друга. Двумя-тремя мощными ударами он прокладывает себе путь к окруженному толпою врагов Серрано, увлекает его за собой в лодку и таким образом спасает ему жизнь.

Португальская эскадра при этом внезапном нападении потеряла все свои шлюпки и свыше трети команды, но Магеллан приобрел названого брата, чья дружба и преданность будут иметь решающее значение для его грядущего подвига.

При этом случае в еще неясном для нас облике Магеллана впервые вырисовывается одна характерная черта — мужественная решительность. Ничего патетического, ничего бросающегося в глаза нет в его натуре, и становится понятным, почему все летописцы индийской войны так долго обходили его молчанием: Магеллан из тех людей, кто всю жизнь остается в тени. Он не умеет ни обращать на себя внимание, ни привлекать к себе симпатии. Только когда на него возложена важная задача, и еще в большей степени, когда он сам ее возлагает на себя, этот сдержанный и замкнутый человек являет изумительное сочетание ума и мужества. Но, совершив славное дело, он потом не умеет ни использовать его, ни похваляться им; спокойно и терпеливо он снова удаляется в тень. Он умеет молчать, он умеет ждать, словно чувствуя, что судьба, прежде чем допустить его к предназначенному подвигу, еще долго будет его учить и испытывать. Вскоре после того, как при Каннаноре он пережил одну из величайших побед португальского флота и при Малакке одно из тягчайших его

поражений, на его суровом пути моряка встретилось новое испытание — кораблекрушение.

Магеллан сопровождал один из регулярно отправляемых с попутным муссоном транспортов пряностей, когда его каравелла наскочила на так называемую Падуанскую банку[50]. Человеческих жертв не было, но корабль разбился в щепы о коралловый риф, и так как разместить всю команду по шлюпкам невозможно, то часть потерпевших крушение должна остаться без помощи. Разумеется, капитан, офицеры и дворяне требуют, чтобы в первую очередь в шлюпки забрали их, и это несправедливое требование вызывает гнев grumetes — простых матросов. Уже готова вспыхнуть опасная распря, но тут Магеллан, единственный из дворянского сословия, заявляет, что готов остаться с матросами, если capitánes y fidalgos* своею честью поручатся по прибытии на берег немедленно выслать за ними корабль.

По-видимому, этот мужественный поступок впервые привлек к «неизвестному солдату» внимание высшего начальства. Ибо, когда спустя немного времени, в октябре 1510 года, Албукерке, новый вице-король, спрашивает capitánes del Rey — королевских капитанов — как, по их мнению, следует провести осаду Гоа[51], то среди высказавшихся упоминается и Магеллан. Из этого можно заключить, что после пятилетней службы sobresaliente простой солдат и матрос возведен наконец в офицерский чин и уже в качестве офицера отправляется в плавание с эскадрой Альбукерке, которой предстоит отомстить за позорное поражение Сикейры под Малаккой.

Итак, через два года Магеллан снова держит путь на далекий восток, к aurea Chersonesus**. Девятнадцать кораблей — отборная военная флотилия — в июле 1511 года грозно выстраиваются у входа в Малаккскую гавань и вступают в ожесточенный бой с вероломным гостеприимцем. Проходит шесть недель, покуда Албукерке удается сломить сопротивление султана. Зато теперь в руки грабителей попадает

---

* Капитаны и дворяне (*порт.*).

** Золотой Херсонес (*лат.*) — старинное название Малаккского полуострова.

добыча, какая еще не доставалась им даже в благодатной Индии. С завоеванием Малакки Португалия зажала в кулак весь восточный мир. Наконец-то удалось перерезать главную артерию мусульманской торговли! Через несколько недель она уже вконец обескровлена. Все моря, от Гибралтара — Столбов Геркулеса до aurea Chersonesus — Сингапурского пролива, стали единым португальским океаном. Далеко, вплоть до Китая и Японии, будя ликующий отзвук в Европе, несутся громовые раскаты этого удара — самого сокрушительного из всех, когда-либо нанесенных исламу.

Перед несметной толпой верующих папа служит благодарственный молебен за великий подвиг португальцев, отдавших половину земного шара во власть христианства, и в Caput mundi* происходит торжество, не виданное Римом со времен цезарей. Посольство, возглавляемое Тристаном да Кунья[52], подносит папе добычу, вывезенную из покоренной Индии, — лошадей в унизанной драгоценностями сбруе, леопардов и пантер. Но главное внимание и изумление вызывает живой слон, доставленный португальскими кораблями, который при неописуемом ликовании толпы трижды простирается ниц перед святым отцом.

Но даже этот триумф не может утолить ненасытное стремление португальцев к экспансии. Никогда в истории победитель не довольствовался одной великой победой: Малакка ведь только ключ к сокровищнице especéria; теперь, когда он у них в руках, португальцы хотят добраться и до самой сокровищницы — захватить сказочно богатые «Острова пряностей» Зондского архипелага: Амбоину, Банду, Тернате[53] и Тидоре. Снаряжаются три корабля под начальством Антонио д'Абреу. Среди участников этой экспедиции на тогдашний «Дальний Восток» летописцы называют и имя Магеллана. В действительности же индийская пора Магеллана тогда уже кончилась. «Достаточно! — говорит ему судьба. — Достаточно ты всего насмотрелся на Востоке, достаточно испытал! Пора идти новыми, собственными путями».

Но именно эти-то легендарные «Острова пряностей», отныне на всю жизнь приворожившие его мечты, ему нико-

---

* Столица мира (*лат.*).

гда не дано будет увидеть por vista de ojos — воочию. Ему не суждено ступить на эти райские земли. Только мечтой, творческой мечтой останутся они для него. Но благодаря дружбе с Франсишку Серрано эти никогда в глаза не виданные им острова кажутся ему хорошо знакомыми, и странная робинзонада друга вдохновляет его на самое великое, самое дерзновенное начинание того времени.

Удивительное приключение Франсишку Серрано, впоследствии столь решительно толкнувшее Магеллана на его кругосветное плавание, — отрадный, умиротворяющий эпизод в кровавой летописи португальских битв и побоищ. Распрощавшись в Малакке с отбывающим на родину названым своим братом Магелланом, Франсишку Серрано вместе с капитанами двух других кораблей направляется к легендарным «Островам пряностей». Без особых трудностей и невзгод доходят они до покрытых зеленью берегов острова и неожиданно встречают там радушный прием. Ибо до этих отдаленных краев не добрались ни мусульманская культура, ни воинственность нравов. В первобытном состоянии, голые и миролюбивые, живут здесь туземцы; они еще не знают денег, еще не гоняются за наживой. За несколько погремушек и браслетов простодушные островитяне тащат целые вороха гвоздики, и, так как уже на двух первых островах, Банде и Амбоине, португальцы до отказа нагружают свои суда, адмирал д'Абреу решает, не заходя на другие, поскорее возвратиться с драгоценным грузом в Малакку.

Может быть, алчность слишком тяжело нагрузила суда, во всяком случае, один из кораблей, именно тот, которым командует Франсишку Серрано, наскочил на риф и разбился. Ничего, кроме жизни, не удается спасти пострадавшим. Уныло бродят они по незнакомому берегу, уже предвидя плачевную гибель, но Франсишку Серрано удается хитростью завладеть пиратской лодкой, на которой он и отправляется обратно в Тернате. С не меньшим радушием, чем при их первом, помпезном появлении, встречает португальцев туземный царек и великодушно предлагает им пристанище (fueron recibidos y hospedados con amor, venaracion

y magnificencia*), так, что они едва могут прийти в себя от счастья и благодарности. Разумеется, воинским долгом капитана Франсишку Серрано было бы, как только команда немного отдохнет и оправится, без промедления возвратиться на одной из многочисленных джонок, постоянно шныряющих между Амбоиной и Малаккой, к своему адмиралу и снова стать на службу португальского короля, с которым он связан жалованьем и присягой.

Но райская природа и теплый, благодатный климат заметно ослабляют в Франсишку Серрано чувство военной дисциплины. Ему вдруг становится совершенно безразлично, что где-то там, за много тысяч миль, в Лиссабонском дворце, какой-то король, гневаясь или брюзжа, вычеркнет его из списка своих капитанов или пенсионеров. Он знает, что достаточно сделал для Португалии, достаточно часто рисковал для нее своей шкурой. Теперь Франсишку Серрано хочет наконец пожить в свое удовольствие, так же приятно и безмятежно, как все прочие, не знающие ни одежды, ни забот, обитатели этих благословенных островов. Пусть другие матросы и капитаны и впредь бороздят моря, своим потом и кровью добывая пряности для чужеземных маклеров, пусть эти верноподданные глупцы и впредь надсаживаются в боях и странствиях, для того чтобы в Лиссабонскую таможню поступало больше пошлин, — лично он, Франсишку Серрано, cidevant** капитан португальского флота, по горло сыт войной и приключениями и всей этой возней с пряностями. Бравый капитан без особой шумихи переходит из мира героики в мир идиллии и решает отныне жить первобытной, блаженно-ленивой жизнью приветливых туземцев. Высокое звание великого визиря, которым его милостиво удостоил король Тернате, не сопряжено с обременительной работой; только однажды, во время небольшого столкновения с соседями, он фигурирует в качестве военного советника своего повелителя. Зато в награду ему дается дом с невольниками и слугами, да к тому же хорошенькая тем-

---

* Были встречены и приняты с любовью, почтением и величием (*исп.*).

** Бывший (*фр.*).

нокожая жена, с которой он приживает двух или трех смуглых детей.

Годы и годы Франсишку Серрано, этот второй Одиссей, забывший свою Итаку, пребывает в объятиях темнокожей Калипсо, и никакому демону честолюбия не удается изгнать его из этого рая dolce far niente*. В продолжение девяти лет, до самой своей смерти, сей добровольный Робинзон, первый, кто убежал от культуры, уже не покидал Зондских островов. Отнюдь не самый доблестный из всех конквистадоров и капитанов славной эпохи португальской истории, он был, по всей вероятности, самым из них благоразумным и к тому же самым счастливым.

Романтическое бегство Франсишку Серрано на первый взгляд не имеет отношения к жизни и подвигу Магеллана. На самом же деле именно это эпикурейское отречение малозаметного и безвестного капитана решительным образом повлияло на дальнейший жизненный путь Магеллана, а тем самым и на историю открытия новых стран. Разъединенные огромным пространством, оба друга находятся в постоянном общении. Каждый раз, когда представляется оказия переслать со своего острова известие в Малакку, а оттуда в Португалию, Серрано пишет Магеллану подробные письма, восторженно славословящие богатства и прелести его новой родины. Буквально они гласят следующее: «Я нашел здесь новый мир, обширнее и богаче того, что был открыт Васко да Гамой». Опутанный чарами тропиков, он настойчиво призывает друга оставить наконец неблагодарную Европу и малодоходную службу и скорей последовать его примеру. Вряд ли можно сомневаться, что именно Франсишку Серрано первый подал Магеллану мысль: не будет ли разумнее, ввиду расположения этих островов на крайнем востоке, направиться к ним по пути Колумба (то есть с запада), нежели по пути Васко да Гамы (с востока)?

На чем порешили два названых брата, мы не знаем. Во всяком случае, у них, по-видимому, возник какой-то определенный план: после смерти Серрано среди его бумаг нашлось письмо Магеллана, в котором он таинственно обещает дру-

---

* Блаженное ничегонеделание (*ит.*).

гу в скором времени прибыть в Тернате, к тому же «если не через Португалию, то иным путем». Найти этот новый путь и стало заветным помыслом Магеллана.

Этот всепоглощающий замысел, несколько рубцов на загорелом теле да еще купленный им в Малакке раб-малаец — вот все, или почти все, что Магеллан после семи лет боевой службы в Индии привозит на родину. Удивление, может быть, даже разочарование должен был испытать утомленный битвами солдат по возвращении в отечество в 1512 году, увидев совсем иной Лиссабон, совсем иную Португалию, чем семь лет назад.

Изумление овладевает им с той самой минуты, как корабль входит в гавань Белема[54]. На месте старинной низенькой церковки, где в свое время был отслужен напутственный молебен Васко да Гамой, высится наконец-то достроенный огромный, великолепный собор — первое зримое выражение несметных богатств, доставшихся его отечеству благодаря индийским пряностям. Куда ни глянь — везде перемены.

На реке, где прежде лишь изредка встречались суда, теперь теснится парус к парусу, на прибрежных верфях рабочие трудятся не покладая рук, чтобы поскорее выстроить новые, еще более мощные эскадры. Гавань пестро расцвечена вымпелами португальских и иностранных кораблей; набережная завалена товарами, склады набиты до отказа. Тысячи людей торопливо снуют по шумным улицам среди роскошных, недавно возведенных дворцов; в факториях, у лавок менял и в маклерских конторах царит вавилонское смешение языков: благодаря эксплуатации Индии Лиссабон за десять лет из небольшого городка стал мировым центром, блестящей столицей. Знатные дамы в открытых колясках выставляют напоказ индийские жемчуга, огромные толпы разодетых придворных кишат во дворце. И моряку, возвратившемуся на родину, становится ясно: кровь, пролитая в Индии им и его товарищами, посредством какой-то таинственной химии превратилась здесь в золото. В то время, когда они под беспощадным солнцем юга сражались, страдали, терпели тяжкие лишения, истекали кровью, Лиссабон благодаря их подвигам унаследовал могущество Александрии и Вене-

ции, король Мануэл «el fortunado»* стал богатейшим монархом Европы.

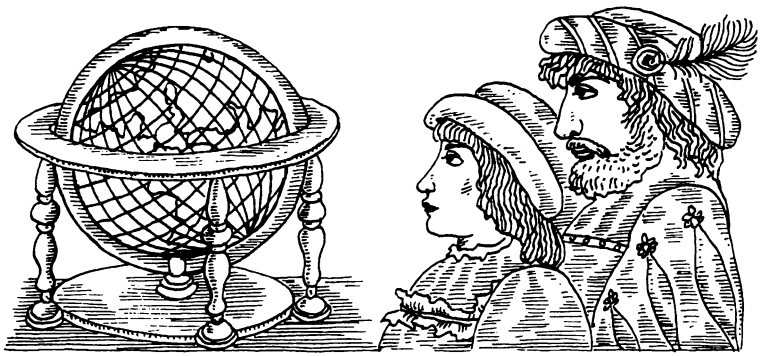
Все изменилось на родине.

Теперь в Старом Свете живут богаче, роскошнее, больше наслаждаются жизнью, беспечнее тратят деньги — словно завоеванные пряности и нажитое на них золото окрылили людей. Только он один вернулся тем же, кем был, «неизвестным солдатом». Никто его не ждет, никто не благодарит, никто не приветствует. Как на чужбину, возвращается в свое отечество португальский солдат Фернао де Магельяеш после семи проведенных в Индии лет.

* Счастливый (*порт.*).

Магеллан обретает свободу

Июнь 1512 года — октябрь 1517 года



Героические эпохи никогда не были и не бывают сентиментальны, и неописуемо ничтожна признательность, которую властители Испании и Португалии выказали отважным конквистадорам, завоевавшим для них целые миры. Колумб в оковах возвращается в Севилью, Кортес попадает в опалу, Писарро[55] умерщвлен, Нуньес де Бальбоа, открывший Тихий океан, обезглавлен, Камоэнс, поэт и воин Португалии, подобно своему великому собрату Сервантесу оклеветанный жалкими провинциальными чиновниками, месяцы и годы проводит в тюрьме, немногим отличающейся от выгребной ямы. Чудовищна неблагодарность эпохи великих открытий: нищими и калеками, завшивевшими, бесприютными, дрожащими от лихорадки, бродят по портовым переулкам Кадиса и Севильи те самые солдаты и матросы, которые завоевали для испанских королей сокровищницы инков и драгоценности Монтесумы. Как шелудивых псов, бесславно зарывают в родную землю тех немногих, кого смерть пощадила в колониях, ибо что значат подвиги этих безыменных героев для придворных льстецов, никогда не покидавших надежных стен дворца, где они ловкими руками загребают богатства, завоеванные теми в бою?

Эти придворные трутни становятся adelantados — губернаторами новых провинций; они мешками гребут золото и, как наглых выскочек, оттесняют от казенной кормушки колониальных бойцов, тогдашних боевых офицеров, которые после долгих лет самоотверженной, изнурительной службы имели глупость возвратиться на родину. То, что Магеллан участвовал в битвах при Каннаноре, при Малакке и что он десятки раз ставил на карту свою жизнь и здоровье ради чести Португалии, по возвращении не дает ему ни малейшего права на достойное занятие или обеспечение. Лишь случайному обстоятельству — тому, что он уже ранее числился в штате короля (criaçao do Rey), обязан Магеллан включением его в список лиц, получающих от короля содержание, или, вернее, милостыню, притом сначала, как mozo fidalgo*, он числится в самой последней категории, удостаиваемой подачки в тысячу рейс ежемесячно. Только через месяц, да и то, должно быть, после долгих препирательств, он подымается на одну ступень выше и в качестве fidalgo escudeiro** получает тысячу восемьсот пятьдесят рейс (или же, по другим сведениям, в качестве cavalleiro fidalgo*** — тысячу двести пятьдесят рейс). Во всяком случае, какое бы из этих званий ему ни было присвоено, значения оно не имеет. Ни один из этих пышных титулов не дает Магеллану иных прав, не возлагает на него иных обязанностей, как слоняться без дела в королевских прихожих. Но человек чести и долга не станет долго мириться с нищенской платой даже за ничегонеделание. Не удивительно поэтому, что Магеллан воспользуется первым — правда, не слишком благоприятным — случаем, чтобы вернуться на военную службу и снова выказать свою доблесть.

Почти целый год пришлось ждать Магеллану.

Но едва только летом 1513 года король Мануэл приступает к снаряжению большой военной экспедиции против Марокко, чтобы наконец нанести мавританским пиратам сокрушительный удар, как испытанный боец индийского

---

* Младший дворянин (*порт.*).

** Оруженосец (*порт.*).

*** Рыцарь (*порт.*).

похода уже предлагает свои услуги — решение, объяснимое только тем, что его тяготит вынужденное бездействие. Ибо в сухопутной войне Магеллан, почти всегда служивший во флоте и за эти семь лет сделавшийся одним из самых опытных моряков своего времени, не сможет в полной мере проявить свои дарования. И вот в большой армии, отправляемой в Азамор[56], он снова не более как младший офицер, без чина и независимого положения. И опять, как некогда в Индии, его имя не фигурирует в донесениях, но зато он сам, так же как в Индии, всегда впереди на самых опасных участках. И опять Магеллан — уже в третий раз — ранен в рукопашной схватке. Удар копьем в коленный сустав поражает нерв, левая нога перестает сгибаться, и Магеллан на всю жизнь остается хромым.

Для фронтовой службы хромоногий воин, неспособный ни быстро ходить, ни ездить верхом, уже не пригоден. Теперь Магеллан мог бы покинуть Африку и на правах раненого требовать повышения оклада. Но он упорно желает остаться в армии, на войне, среди опасностей — в подлинной своей стихии. Тогда Магеллану и еще одному раненому предлагают в качестве конвоирующих офицеров, quadrileiros das presos, сопровождать отбитую у мавров огромную добычу — лошадей и скот. Тут происходит событие довольно темного свойства. Однажды ночью из несметных стад исчезает несколько десятков овец, и тотчас же распространяется злонамеренный слух, будто Магеллан и его товарищ тайком продали маврам часть отнятой у них добычи или же по небрежности дали врагу возможность ночью похитить скот из загонов. Странным образом это гнусное обвинение в бесчестном поступке, нанесшем ущерб государству, в точности совпадает с обвинением, которым несколько десятилетий спустя португальские колониальные чиновники очернят и унизят другого столь же знаменитого португальца — поэта Камоэнса. Оба эти человека, за годы службы в Индии имевшие сотни раз случай обогатиться, но вернувшиеся из этого Эльдорадо на родину нищими, были запятнаны одним и тем же позорным обвинением.

Но к счастью, Магеллан был тверже, чем кроткий Камоэнс. Он не собирается давать показания этим жалким сутя-

гам и позволять им месяцами таскать его по тюрьмам, подобно Камоэнсу. Он не подставляет малодушно, как творец «Лузиад», свою спину ударам врага. Едва клеветнический слух начинает распространяться, он, прежде чем кто-либо осмелился открыто предъявить ему обвинение, оставляет армию и возвращается в Португалию требовать удовлетворения.

Магеллан не чувствовал за собой ни малейшей вины в этом темном деле; это явствует из того, что, прибыв в Лиссабон, он немедленно ходатайствует об аудиенции у короля, но отнюдь не за тем, чтобы обелить себя, а, напротив, чтобы в сознании своих заслуг наконец потребовать более достойной должности и лучшей оплаты. Ведь он снова потерял два года, снова получил в бою рану, сделавшую его почти что калекой. Но ему не повезло: король Мануэл даже не дает настойчивому кредитору предъявить свой счет. Извещенный командованием африканской армии о том, что строптивый капитан самовольно, не испросив отпуска, покинул марокканскую армию, король обращается с заслуженным раненым офицером так, словно перед ним обыкновенный дезертир. Не дав ему вымолвить ни слова, король коротко и резко приказывает Магеллану тотчас вернуться в Африку, к месту нахождения своей части, и немедленно отдать себя в распоряжение высшего начальства. Во имя дисциплины Магеллан вынужден повиноваться. С первым же кораблем он возвращается в Азамор. Там, разумеется, и речи нет о расследовании, никто не осмеливается чернить заслуженного бойца, и Магеллан, получив от своих начальников удостоверение в том, что он уходит из армии с незапятнанной честью, и запасшись всевозможными документами, свидетельствующими о его невиновности и заслугах, вторично возвращается в Лиссабон — можно представить себе, с каким горьким чувством. Вместо знаков отличия на его долю выпадают ложные обвинения, вместо наград — одни только рубцы... Он долго молчал, скромно держась в тени. Но теперь, к тридцати пяти годам, он устал выпрашивать как милостыню то, что ему причитается по праву.

Благоразумие должно было подсказать Магеллану, что при столь щекотливых обстоятельствах не следует являть-

ся к королю Мануэлу немедленно по приезде и снова досаждать ему теми же требованиями. Конечно, разумнее было бы, некоторое время не напоминая о себе, завести друзей и знакомых в придворных кругах и, достаточно осмотревшись, втереться в доверие. Но вкрадчивость и пронырливость не в характере Магеллана. Как ни мало мы о нем знаем, одно остается бесспорным: этот низкорослый, смуглый, ничем не обращающий на себя внимания молчаливый человек даже в самой малой степени не обладал даром привлекать к себе симпатии. Король — неизвестно почему — всю жизнь питал к нему неприязнь (sempre teve hum entejo), и даже верный его спутник Пигафетта должен признать, что офицеры просто ненавидели Магеллана (Il capitáni sui lo odiavano). Магеллан, так же как это говорила Рахиль Варнхаген[57] о Клейсте[58], «во все вносил суровость». Он не умел улыбаться, расточать любезности, угождать, не умел искусно защищать свои мнения и взгляды. Неразговорчивый, замкнутый, всегда окутанный пеленой одиночества, этот нелюдим, должно быть, распространял вокруг себя атмосферу ледяного холода, стеснения и недоверия, и мало кому удалось узнать его даже поверхностно; во внутреннюю же его сущность так никто и не проник. В молчаливом упорстве, с которым он оставался в тени, его товарищи бессознательно чуяли какое-то необычное, непонятное честолюбие, тревожившее их сильнее, чем честолюбие откровенных охотников за выгодными местами, ожесточенно и бесстыдно теснившихся у казенной кормушки. В его глубоких, маленьких, сверлящих глазах, в углах его густо заросшего рта всегда витала какая-то надежно спрятанная тайна, заглянуть в которую он не давал. А человек, прячущий в себе тайну и достаточно стойкий, чтобы много лет молчать о ней, всегда страшит тех, кто от природы доверчив, кому нечего скрывать. Угрюмый нрав Магеллана рождал противодействие. Нелегко было идти с ним в ногу и стоять за него. И, вероятно, самым трудным было для этого трагического нелюдима всегда чувствовать себя таким одиноким наедине с самим собою.

И в этот раз fidalgo escudeiro Фернао де Магельяеш, один, без всяких доброжелателей и покровителей, отправляет-

ся на аудиенцию к своему королю, выбрав наихудший из всех путей, которыми можно идти при дворе, то есть честный и прямой. Король Мануэл принимает его в том же зале, может быть сидя на том же троне, с высоты которого его предшественник Жуан II некогда отказал Колумбу; на том же месте разыгрывается сцена такого же исторического значения. Ибо невзрачный, по-мужицки широкоплечий, коренастый, чернобородый португалец, с пронзительным взглядом исподлобья, сейчас низко склонившийся перед властелином, который мгновение спустя презрительно отошлет его прочь, таит в себе мысль, не менее великую, чем тот пришлый генуэзец. Отвагой, решимостью и опытом Магеллан, возможно, даже превосходит своего более знаменитого предшественника. Очевидцев этой решающей минуты не было, однако при чтении сходных между собой хроник того времени сквозь даль веков начинаешь видеть происходящее в тронном зале: припадая на хромую ногу, Магеллан приближается к королю и с поклоном передает документы, неопровержимо доказывающие лживость возведенного на него обвинения. Затем он излагает первую свою просьбу: ввиду вторичного, лишившего его боеспособности ранения он ходатайствует перед королем о повышении его moradia, месячного содержания, на полкрузадо. До смешного ничтожна сумма, которую он просит, и, казалось бы, не пристало гордому, стойкому, честолюбивому воину преклонять колени ради такой безделицы. Но Магеллан предъявляет это требование не ради монеты ценностью в полкрузадо, а во имя своего общественного положения, своего достоинства. Размер moradia, оклада, при этом дворе, где каждый тщится оттолкнуть локтем другого, определяет ступень иерархической лестницы, на которой стоит дворянин, ее получающий. Тридцатипятилетний ветеран индийской и марокканской войн, Магеллан не хочет значить при дворе меньше любого безусого юнца из тех, что подают королю блюда или распахивают перед ним дверцу кареты. Из гордости он никогда не старался протиснуться вперед, но из гордости же он не может подчиняться людям, более молодым и менее заслуженным. Он не даст ценить себя ниже, чем сам ценит себя и все им содеянное.

Но король Мануэл глядит на навязчивого просителя, угрюмо нахмурившись. Для него, богатейшего из монархов, дело, разумеется, не в жалкой серебряной монете. Его просто раздражает поведение этого человека, который настойчиво требует, вместо того чтобы смиренно домогаться, и, не желая ждать, покуда он, король, милостиво соблаговолит увеличить ему содержание, упорно, решительно, словно это причитается ему по праву, настаивает на повышении в придворном чине. Что ж? Этого твердолобого молодца научат и просить и дожидаться. Подстрекаемый дурным советчиком — досадой, король Мануэл, обычно el fortunado — счастливый, отклоняет ходатайство Магеллана о повышении оклада, не подозревая, сколько тысяч золотых дукатов он уже в ближайшее время будет готов заплатить за этот один сбереженный им полкрузадо.

Собственно Магеллану следовало бы теперь откланяться, ибо нахмуренное чело короля уже не сулит ему ни проблеска благоволения. Но, вместо того чтобы, отвесив нижайший поклон, выйти из зала, ожесточенный гордостью Магеллан продолжает невозмутимо стоять перед монархом и излагает ему просьбу, которая, в сущности, и привела его сюда. Он спрашивает, не найдется ли на королевской службе для него какого-нибудь места, какого-нибудь достойного занятия. Он еще слишком молод, слишком полон сил, чтобы всю жизнь жить милостыней. Ведь из португальских гаваней в те времена ежемесячно, даже еженедельно отправлялись суда в Индию, в Африку, в Бразилию; нет ничего более естественного, как предоставить командование одним из этих многочисленных судов человеку, лучше, чем кто бы то ни было, изучившему восточные моря. За исключением старого ветерана Васко да Гамы, в столице и во всем королевстве не найдется никого, кто мог бы сказать, что превосходит Магеллана знаниями. Но королю Мануэлу все невыносимее становится жесткий, вызывающий взгляд этого докучливого просителя. Холодно, даже не обнадеживая Магеллана на будущие времена, отклоняет он его просьбу: нет, места для него не найдется.

Отказано. Кончено. Но Магеллан обращается к королю еще с третьей просьбой — вернее, это уже не просьба,

а вопрос. Магеллан спрашивает, не прогневается ли король, если он поступит на службу в другой стране, где ему предложат лучшие условия. И король с оскорбительной холодностью дает понять, что ему это безразлично. Магеллан может служить где угодно — где только удастся сыскать службу. Тем самым Магеллану сказано, что португальский двор отказывается от любых его услуг, что за ним, правда, и впредь милостиво сохранят жалкую подачку, но что никого не огорчит, если он покинет и королевский двор, и Португалию.

Никто не был свидетелем этой аудиенции; никто не знает, в тот ли или в другой раз, раньше или позже Магеллан открыл королю свой заветный тайный замысел. Может быть, ему даже не дали возможности развить свою мысль, может быть — равнодушно отклонили ее; как бы там ни было, но во время аудиенции Магеллан еще раз изъявил намерение в дальнейшем, как и прежде, кровью и жизнью служить Португалии. И только резкий отказ вызвал в нем тот внутренний перелом, который неминуемо совершается в жизни каждой творческой личности.

В минуту, когда Магеллан, словно выгнанный нищий, покидает дворец своего короля, он уже знает: дольше ждать и медлить нельзя. К тридцати пяти годам он узнал и пережил все, чему воин и моряк научаются на поле битвы и на море. Четырежды огибал он мыс Доброй Надежды — два раза с востока и два раза с запада. Несметное число раз был он на волоске от смерти, трижды ощущал холодный металл неприятельского оружия в теплом, истекающем кровью теле. Безмерно много видел он на свете, он знает больше о восточной части земного шара, чем все прославленные географы и картографы его времени. Без малого десятилетний опыт сделал его знатоком всех видов военной техники: он научился владеть мечом и пищалью, рулем и компасом, парусом и пушкой, веслом, заступом и копьем. Он умеет читать портуланы, опускать лот и не менее точно, чем любой «мастер астрономии», применяет навигационные приборы. Все, о чем другие только с любопытством читают в книгах — томительные штили и многодневные циклоны, битвы на море и на суше, осады и резня, внезапные налеты

и кораблекрушения, — все это он пережил сам. За десять лет он научился и выжидать, и мгновенно пользоваться решающей секундой. Он близко узнал всевозможных людей: желтых и белых, черных и темнокожих, индусов и малайцев, китайцев и негров, арабов и турок. В любом деле — на воде и на суше, во все времена года и на всех морях, в мороз и под палящим небом тропиков — служил он своему королю, своей стране. Но служить хорошо в молодости. Теперь, приближаясь к тридцати шести годам, Магеллан решает, что достаточно жертвовал собою чужим интересам, чужой славе. Как всякий творчески одаренный человек, он media in vita* испытывает потребность отвечать за свои действия, полностью проявить себя. Родина отреклась от него в беде, освободила его от уз службы и долга — тем лучше: теперь он свободен. Ведь часто случается, что удар кулака вместо того, чтобы отшвырнуть человека, направляет его на верный путь.

Раз принятое решение Магеллан никогда не воплощает в жизнь мгновенно и необдуманно. Как ни скуден свет, проливаемый описаниями современников на его характер, одно, и притом существенное, качество, несомненно, отличает его во все периоды его жизни: Магеллан прекрасно умел молчать. По природе терпеливый и необщительный, даже в суматохе походной жизни державшийся тихо и обособленно, Магеллан все свои мысли продумывал в одиночестве. Далеко заглядывая вперед, в тиши учитывая каждую возможность, Магеллан не открывал людям своих планов и решений, покуда не был уверен, что его замысел внутренне созрел, до конца продуман и бесспорен.

И на этот раз Магеллан изумительно проявляет свое искусство молчания. Другой на его месте после оскорбительного отказа короля Мануэла, вероятно, тотчас покинул бы страну и предложил свои услуги другому монарху. Магеллан же спокойно остается в Португалии еще на год, и никто не догадывается, чем он занят. Разве только замечают — поскольку это вообще может привлечь внимание, когда речь идет о старом,

---

* Посередине жизни (*лат.*).

побывавшем в Индии моряке, — что Магеллан долгие часы просиживает с кормчими и капитанами, с теми, кто некогда плавал в южных морях. Но о чем же и болтать охотникам, как не об охоте, мореплавателям — как не о морях и новых землях! Не может вызывать подозрений и то, что в tesoraria*, секретном архиве короля Мануэла, он ворошит все хранящиеся там secretissimas** карты берегов, портуланы, лаговые записи и судовые журналы последних экспедиций в Бразилию. Чем же и заполнять находящемуся не у дел капитану свои досуги, как не изучением книг и сообщений о вновь открытых морях и землях?

Скорее уж могла обратить на себя внимание новая дружба, заключенная Магелланом, ибо человек, с которым он все теснее сближается, некий Руй Фалейру, юркий, нервный, вспыльчивый книжник, со своей страстной говорливостью, чрезмерной самонадеянностью и взбалмошным характером менее всего подходит к молчаливому, сдержанному, замкнутому воину и мореходу. Но дарования обоих этих людей, вскоре ставших неразлучными, именно в силу их полного несходства привели к известной, неизбежно кратковременной гармонии. Как для Магеллана сокровеннейшая страсть — путешествия по неведомым морям и практическое исследование земного мира, так для Фалейру — отвлеченное познание земли и неба. Чистейшей воды теоретик, подлинно кабинетный ученый, никогда не ступавший на корабль, никогда не покидавший Португалию, Руй Фалейру знает далекие сферы неба и земли только по вычислениям, книгам, таблицам и картам; зато в этих абстрактных областях, в качестве картографа и астронома, он считается величайшим авторитетом. Он не умеет ставить паруса, но он изобрел собственную систему вычисления долгот, хотя и не лишенную погрешностей, но охватывающую весь земной шар и впоследствии оказавшую Магеллану огромные услуги. Фалейру не умеет обращаться с рулем, но изготовленные им морские карты, портуланы, астролябии и другие инструменты, по-видимому, являлись наиболее совершенными нави-

---

* Сокровищница (*порт.*).

** Секретнейшие (*лат.*).

гационными приборами того времени. Такой знаток, несомненно, принесет огромную пользу Магеллану, идеальному практику, чьим университетом были только война и плавания, кто из астрономии и географии знает лишь то, что он сам непосредственно видел в своих странствиях и благодаря своим странствиям. Как раз благодаря противоположности своих дарований и склонностей оба эти человека необыкновенно счастливо дополняют друг друга, как спекулятивное мышление дополняет опытное знание, как мысль — дело, как дух — материю.

Но к этому, в данном частном случае, присоединяется еще и временная общность судеб. Оба эти, каждый по-своему замечательные, португальца одинаково уязвлены своим королем, обоим прегражден путь к осуществлению дела всей их жизни. Руй Фалейру уже много лет домогается должности королевского астронома и, несомненно, с большим на то правом, чем кто-либо другой. Но так же как Магеллан своей молчаливой гордостью, так, по-видимому, и Руй Фалейру раздражил двор своей резкостью и обидчивостью. Враги называют его шутом, и, чтобы предать его в руки инквизиции (и тем самым отделаться от него), распространяют слух, будто он в своих работах прибегает к помощи сверхъестественных сил, будто он заключил союз с дьяволом. Итак, оба они, Магеллан и Руй Фалейру, в своей стране удалены от дел ненавистью и недоверием, и этот внешний гнет ненависти и недоверия внутренне сближает их друг с другом. Фалейру изучает записи и проекты Магеллана. Он снабжает их научной надстройкой, и его вычисления точными, по таблицам проверенными данными подтверждают чисто интуитивные предположения Магеллана. И чем дольше сравнивают теоретик и практик свои наблюдения, тем пламеннее они стремятся осуществить свой проект в таком же тесном сотрудничестве, в каком они его продумали и разработали. Оба они — теоретик и практик — клятвенно обязуются до решающей минуты осуществления таить от всех свой замысел и, в случае необходимости, без содействия родной страны и даже в ущерб ей совершить дело, которое должно стать достоянием не только одной Португалии, но всего человечества.

Однако пора уже спросить: что, собственно, представляет собой таинственный проект, который Магеллан и Фалейру втихомолку, словно заговорщики, обсуждают вблизи Лиссабонского дворца? Что в нем такого нового, доселе небывалого? Что делает его столь важным и заставляет их поклясться друг другу в нерушимости тайны? Что в этом проекте такого опасного, что вынуждает их прятать его, словно отравленное оружие? Ответ на этот вопрос поначалу разочаровывает. Ибо новый проект — не что иное, как та самая мысль, с которой Магеллан некогда возвратился из Индии и которую в нем разжигал Серрано: мысль достичь богатейших «Островов пряностей», плывя не в восточном направлении, вокруг Африки, как это делают португальцы, а с запада, то есть огибая Америку. На первый взгляд в этом нет ничего нового. Еще Колумб, как известно, отправился в плавание не для того, чтобы открыть Америку, о существовании которой тогда еще не подозревали, а стремясь достичь Индии. И когда весь мир уже понял, что Колумб находится в заблуждении (сам он так и не осознал этого и всю жизнь был убежден, что высадился в одной из провинций китайского богдыхана), Испания из-за этого случайного открытия отнюдь не отказалась от поисков пути в Индию, ибо за первыми минутами радости последовало досадное разочарование. Заявление пылкого фантаста Колумба, что на Сан-Доминго и Эспаньоле золото пластами лежит под землей, оказалось враньем. Там не нашли ни золота, ни пряностей, ни даже «черной слоновой кости» — тщедушные индейцы не годились в невольники. Покуда Писарро еще не разграбил сокровищниц инков, покуда еще не была начата разработка Потосийских серебряных рудников, открытие Америки не представляло — в коммерческом отношении — никакой ценности, и алкавшие золота кастильцы были меньше заинтересованы в колонизации и покорении Америки, чем в том, чтобы, обогнув ее, как можно скорее попасть в райские края драгоценных камней и пряностей. Согласно распоряжениям короля, непрерывно продолжались попытки обогнуть вновь открытую terra firma*, чтобы прежде порту-

* Материк (*лат.*).

гальцев ворваться в подлинную сокровищницу Востока, на «Острова пряностей». Одна экспедиция следовала за другой. Но вскоре испанцам при поисках пути в вожделенную Индию довелось пережить то же разочарование, что и некогда португальцам при первых попытках обогнуть Африку. Ибо и эта вновь открытая часть света, Америка, оказалась куда более обширной, чем можно было предположить вначале. Повсюду, на юге и на севере, где бы их суда ни пытались прорваться в Индийский океан, они наталкивались на неодолимую преграду — земную твердь. Повсюду, как широкое бревно поперек дороги, лежит перед ними этот протяженный материк — Америка. Прославленные конквистадоры тщетно пытали счастья, силясь найти где-нибудь проход, пролив — paso, estrecho. Колумб в четвертое свое плавание поворачивает к западу, чтобы возвратиться через Индию, и наталкивается все на ту же преграду. Экспедиция, в которой участвует Веспуччи, столь же тщетно обследует все побережье Южной Америки — чтобы пробраться к «Островам пряностей», Молуккским островам. Кортес в четвертой своей «реляции» торжественно обещает императору Карлу искать проход у Панамы. Кортереал и Кабот направляют свои суда в глубь Ледовитого океана, чтобы открыть пролив на севере, а Хуан де Солис[59], думая обнаружить его на юге, далеко поднимается вверх по Ла-Плате. Но тщетно! Везде, на севере, на юге, в полярных зонах и тропиках, все тот же незыблемый вал — земля и камни. Мало-помалу начинает исчезать всякая надежда из Атлантического океана проникнуть в тот, другой, некогда увиденный Нуньесом де Бальбоа с панамских высот. Уже космографы вычерчивают на картах Южную Америку сращенной с Южным полюсом, уже бесчисленные суда потерпели крушение во время этих бесплодных поисков, уже Испания примирилась с мыслью навеки остаться отрезанной от земель и морей богатейшего Индийского океана, ибо нигде, решительно нигде не находится вожделенный paso — со страстным упорством разыскиваемый пролив.

Тогда вдруг этот неведомый, невзрачный капитан Магеллан появляется из неизвестности и с пафосом полнейшей уверенности заявляет: «Между Атлантическим и Индий-

ским океаном существует пролив. Я в этом уверен, я знаю его местонахождение. Дайте мне эскадру, я укажу вам его и, плывя с востока на запад, обогну весь земной шар».

Теперь-то мы и оказываемся перед лицом той самой тайны Магеллана, которая в продолжение веков занимает ученых и психологов. Сам по себе, как сказано, проект Магеллана отнюдь не отличался оригинальностью: собственно говоря, Магеллан стремился к тому же, что и Колумб, Веспуччи, Кортереал, Кортес и Кабот. Итак, нов не его проект, но та не допускающая возражений уверенность, с которой Магеллан утверждает существование западного пути в Индию. Ведь с самого начала он не говорит скромно, как те, другие: «Я надеюсь где-нибудь найти paso — пролив». Нет, он с железной уверенностью заявляет: «Я найду paso. Ибо я, один я знаю, что существует пролив между Атлантическим и Индийским океаном, и знаю, в каком месте его искать».

Но каким образом Магеллан — в этом-то и загадка — мог наперед знать, где расположен этот тщетно разыскиваемый всеми другими мореходами пролив? Сам он во время своих путешествий ни разу даже не приблизился к берегам Америки, как и его товарищ Фалейру. Если он с такой определенностью утверждает наличие пролива — значит, о его существовании и географическом положении он мог узнать только от кого-нибудь из своих предшественников, видевших этот пролив. Но раз другой мореплаватель видел его до Магеллана — тогда ситуация весьма щекотлива! Тогда Магеллан вовсе не прославленный герой, каким его увековечила история, а всего-навсего плагиатор, похититель чужой славы. Тогда Магелланов пролив так же несправедливо назван именем Магеллана, как Америка несправедливо названа именем не открывшего ее Америго Веспуччи.

Итак, тайна истории Магеллана, в сущности, исчерпывается одним вопросом: от кого и каким путем скромный португальский капитан получил столь надежные сведения о наличии пролива между двумя океанами, что смог обязаться осуществить то, что до того времени считалось неосуществимым, а именно кругосветное плавание? Первое упоминание о данных, на основании которых Магеллан твердо

уверовал в успех своего дела, мы находим у Антонио Пигафетты, преданнейшего его спутника и биографа, который сообщает следующее: даже когда вход в этот пролив уже был у них перед глазами, никто во всей флотилии не верил в существование подобного соединяющего океаны пути. Только уверенность самого Магеллана невозможно было поколебать в ту минуту, ибо он, дескать, точно знал, что такой, никому не известный пролив существует, а знал он об этом благодаря начертанной знаменитым космографом Мартином Бехаймом карте, которую он в свое время разыскал в секретном архиве португальского короля. Это сообщение Пигафетты само по себе вполне заслуживает доверия, ибо мы знаем, что Мартин Бехайм действительно до самой своей смерти (1507) был придворным картографом португальского короля, как знаем и то, что молчаливый искатель Магеллан сумел получить доступ в этот секретный архив.

Но поиски разгадки становятся все более увлекательными: этот Мартин Бехайм лично не принимал участия ни в одной заморской экспедиции и поразительную весть о существовании paso, в свою очередь, мог узнать только от других мореплавателей. Значит, и у него были предшественники. Тогда вопрос усложняется. Кто же были эти предшественники, эти безвестные мореходы? Кому же, наконец, принадлежит честь открытия? Возможно ли, чтобы какие-то португальские суда еще до изготовления этих карт и глобусов достигли таинственного пролива, соединяющего Атлантический океан с Тихим? И что же? Неопровержимые документы подтверждают, что действительно в начале века несколько португальских экспедиций (одну из них сопровождал Веспуччи) обследовали побережье Бразилии, а быть может, даже и Аргентины. Только они и могли увидеть paso.

Однако этого мало — возникает новый вопрос: как далеко проникли эти таинственные экспедиции? Вправду ли спустились они до самого прохода, до Магелланова пролива? Мнение, что другие мореплаватели до Магеллана уже знали о существовании paso, долгое время основывалось лишь на упомянутом сообщении Пигафетты да еще на сохранившемся и поныне глобусе Иоганна Шенера[60], на котором — как это ни удивительно — уже в 1515 году, следовательно

задолго до отплытия Магеллана, ясно обозначен пролив на юге (правда, совершенно не там, где он находится в действительности). Но все это не помогает нам уяснить, от кого же получили эти сведения Бехайм и немецкий ученый, ибо в ту эпоху великих открытий каждая нация, из коммерческой ревности, неусыпно следила, чтобы результаты экспедиции сохранялись в тайне. Лаговые записи кормчих, судовые журналы капитанов, карты и портуланы немедленно сдавались в лиссабонскую tesoraria. Король Мануэл указом от 13 ноября 1504 года под страхом смертной казни запретил «сообщать какие-либо сведения о судоходстве по ту сторону реки Конго, дабы чужестранцы не могли извлечь выгоды из открытий, сделанных Португалией».

Когда вопрос о приоритете, ввиду совершенной его праздности, уже как будто заглох, неожиданная находка более позднего времени пролила свет на то, кому именно Бехайм и Шенер, а в конечном счете и Магеллан обязаны своими географическими сведениями. Эта находка представляла собой всего только напечатанную на прескверной бумаге немецкую листовку, озаглавленную: «Copia der Newen Zeytung aus Presillg Landt» («Копия новых вестей из Бразильской земли»); эта листовка оказалась донесением, посланным из Португалии в начале шестнадцатого века крупнейшему торговому дому Вельзеров в Аугсбурге одним из его португальских представителей; в нем на отвратительнейшем немецком языке сообщается, что некое португальское судно на приблизительно сороковом градусе южной широты открыло и обогнуло некий cabo, то есть мыс, «подобный мысу Доброй Надежды», и что за этим cabo по направлению с востока на запад расположен широкий пролив, напоминающий Гибралтар; он тянется от одного моря до другого, так что нет ничего легче, как этим путем достичь Молуккских островов — «Островов пряностей». Итак, это донесение определенно утверждает, что Атлантический и Тихий океан соединены между собой — quod erat demonstrandum*.

Тем самым загадка, казалось, была наконец решена, и Магеллан окончательно изобличен в плагиате, в присвое-

* Что и требовалось доказать (*лат.*).

нии открытия, сделанного до него. Ведь, бесспорно, Магеллан был осведомлен о результатах той предшествовавшей португальской экспедиции не хуже, чем неизвестный представитель немецких судовладельцев и проживающий в Лиссабоне аугсбургский географ; а в таком случае вся его заслуга перед мировой историей сводится к тому, что он благодаря своей энергии сумел тщательно охраняемую тайну сделать доступной всему человечеству. Итак, ловкость, стремительность, беззастенчивое использование чужих достижений — вот, видимо, и вся тайна Магеллана.

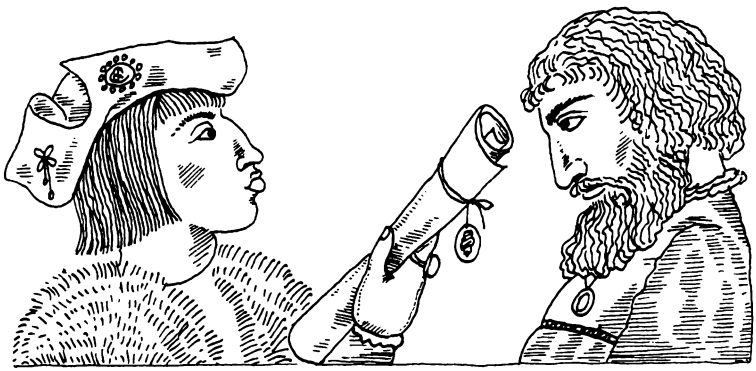
Но, как ни удивительно, возникает еще один, последний вопрос. Ведь теперь нам известно то, что не было известно Магеллану: участники той португальской экспедиции в действительности не достигли Магелланова пролива, их сообщения, которым доверился Магеллан, так же как Мартин Бехайм и Иоганн Шенер, на самом деле основывались на недоразумении, на легко понятной ошибке. Что именно (здесь мы доходим до самой сути проблемы) видели те мореплаватели на сороковом градусе южной широты? Что, собственно, сообщает, нам «Newen Zeytung»? Только то, что эти мореплаватели приблизительно на сороковом градусе южной широты открыли морской залив, по которому они плыли двое суток, не видя ему конца, и что, прежде чем они достигли его предела, буря прогнала их назад. Следовательно, то, что они видели, было началом некоего водного пути, который они сочли, но сочли напрасно тем проливом, что соединяет два океана. Ведь настоящий пролив расположен — это известно со времен Магеллана — на пятьдесят втором градусе южной широты. Что же видели эти безвестные мореплаватели под сороковым градусом? Здесь существует достаточно обоснованное предположение, ибо тому, кто впервые собственными глазами изумленно созерцал необъятный, широкий, как море, простор Ла-Платы при впадении ее в океан — только тому понятно, что не случайным, а подлинно неизбежным заблуждением было счесть это исполинское речное устье заливом, морем. Разве не более чем естественно, что мореходы, никогда не встречавшие в Европе столь гигантского водного потока, увидев эту необозримую ширь, преждевременно возликовали, решив, что это-то

и есть вожделенный пролив, соединяющий два океана? Лучшим доказательством, что кормчие, на которых ссылается, приняли исполинскую реку за пролив, служат упомянутые нами карты, начертанные в соответствии с их сообщениями. Ведь если бы они, эти безвестные кормчие, пробравшись дальше на юг, нашли, кроме реки Ла-Платы, и Магелланов пролив — то есть настоящий paso, они должны были бы на своих портуланах, а Шенер — на своем глобусе обозначить также и Ла-Плату, этого гиганта среди водных потоков земного шара. Однако на глобусе Шенера, как и на других известных нам картах, Ла-Плата не обозначена, а на ее месте, как раз под тем же градусом широты, нанесен мифический пролив — paso. Тем самым вопрос выяснен до конца. Осведомители чистосердечно заблуждались. Они стали жертвами очевидной и понятной ошибки, да и Магеллан поступил не менее честно, утверждая, что у него имеются достоверные данные о существовании некоего paso. Когда он, руководствуясь этими картами и сообщениями, создавал свой грандиозный проект кругосветного плавания, он попросту был введен в обман самообманом других. Заблуждение, в которое он честно уверовал, — вот что в конечном счете составляло тайну Магеллана.

Но не надо презирать заблуждений! Из безрассуднейшего заблуждения, если гений коснется его, если случай будет руководить им, может произрасти величайшая истина. Сотнями, тысячами насчитываются во всех областях знания великие открытия, возникшие из ложных гипотез. Никогда Колумб не отважился бы выйти в океан, не будь на свете карты Тосканелли[61], до абсурда неверно определявшей объем земного шара и обманчиво твердившей ему, что он в кратчайший срок достигнет восточного побережья Индии. Никогда Магеллан не сумел бы уговорить монарха предоставить ему флотилию, если бы не верил с таким безрассудным упрямством ошибочной карте Бехайма и фантастическим сообщениям португальских кормчих. Только веря, что он обладает знанием тайны, Магеллан мог разгадать величайшую географическую тайну своего времени. Только всем сердцем отдавшись преходящему заблуждению, он открыл непреходящую истину.

Идея Магеллана осуществляется

20 октября 1517 года — 22 марта 1518 года



Теперь Магеллан стоит перед ответственным решением. У него есть план, равного которому по смелости не вынашивает в сердце ни один моряк его времени, и вдобавок у него есть уверенность — или ему кажется, что она есть, — что благодаря имеющимся у него особым сведениям этот план неминуемо приведет его к цели. Но как осуществить столь дорогостоящее и опасное предприятие? Монарх его родной страны от него отвернулся; на поддержку знакомых португальских судовладельцев вряд ли можно рассчитывать: они не осмелятся доверить свои суда человеку, заслужившему немилость двора. Итак, остается один путь: обратиться к Испании. Там, и только там, может Магеллан рассчитывать на поддержку, только при том дворе его личность может иметь некоторый вес, ибо он не только привезет с собой драгоценные сведения из лиссабонской tesoraria, но и представит Испании — что не менее важно для задуманного им дела — доказательства моральной правоты ее претензий. Его компаньон Фалейру вычислил (так же неправильно, как неправильно был информирован Магеллан), что «Острова пряностей» находятся не в пре-

делах португальского владычества, а в области, отведенной папою Испании, и посему являются собственностью испанской, а не португальской короны. Богатейшие в мире острова и кратчайший путь к ним предлагает безвестный португальский капитан в дар императору Карлу V. Вот почему скорее, чем где-либо, он может рассчитывать на успех при испанском дворе. Там, и только там, может он осуществить великое предприятие, замысел всей своей жизни, хоть и знает, что жестоко за это расплатится. Ибо, если Магеллан теперь обратится к Испании, ему придется, как собственную кожу, содрать с себя благородное португальское имя Магельяеш. Португальский король немедленно ввергнет его в опалу, и он веками будет слыть среди своих соотечественников изменником — traidor, перебежчиком — transfuga; и в самом деле, добровольный отказ Магеллана от португальского подданства и его продиктованный отчаянием переход на службу другой державы несравнимы с поведением Колумба, Кабота, Кадамосты[62] или Веспуччи, также водивших флотилии чужих монархов в заморские экспедиции. Ведь Магеллан не только покидает родину, но — умолчать об этом нельзя — наносит ей ущерб, передавая в руки злейшему сопернику своего короля «Острова пряностей», уже занятые его соотечественниками. Он поступает не только смело — поступает непатриотично, сообщая другому государству морские тайны, овладеть которыми ему удалось лишь благодаря доступу в лиссабонскую tesoraria. В переводе на современный язык это означает, что Магеллан, португальский дворянин и бывший капитан португальского флота, совершил преступление не менее тяжкое, нежели офицер нашего времени, передавший мобилизационные планы и секретные карты генерального штаба соседнему враждебному государству. И единственное обстоятельство, которое придает его неприглядному поведению известный оттенок величия, заключается в том, что он перешел границу не трусливо и опасливо, как контрабандист, а предался противнику с поднятым забралом, в сознании всех ожидающих его поношений.

Но творческая личность подчиняется иному, более высокому закону, чем закон простого долга. Для того, кто при-

зван совершить великое деяние, осуществить открытие или подвиг, двигающий вперед все человечество, для того подлинной родиной является уже не его отечество, а его деяние. Он ощущает себя ответственным в конечном счете только перед одной инстанцией — перед той задачей, которую ему предназначено решить, и он скорее позволит себе презреть государственные и временные интересы, чем то внутреннее обязательство, которое возложили на него его особая судьба, особое дарование. Магеллан осознал свое призвание на середине жизненного пути после многих лет верного служения своему отечеству. И так как его отечество отказало ему в возможности осуществления его замыслов, то он должен был сделать своим отечеством свою идею. Он решительно уничтожает свое преходящее имя и свою гражданскую честь, чтобы воскреснуть и раствориться в своей идее, в своем бессмертном подвиге.

Пора выжидания, терпения и обдумывания для Магеллана кончилась. Осенью 1517 года его дерзновенное решение претворяется в дело. Временно оставив в Португалии своего менее отважного партнера — Фалейру, Магеллан переходит Рубикон своей жизни — испанскую границу; 20 октября 1517 года вместе со своим невольником Энрике, уже долгие годы сопровождающим его как тень, он прибывает в Севилью. Правда, Севилья в этот момент не является резиденцией нового короля Испании, Карлоса I, в качестве властелина Старого и Нового Света именуемого нами Карлом V. Восемнадцатилетний монарх только что прибыл из Фландрии в Сантандер и находится на пути в Вальядолид, где с середины ноября намерен обосновать свой двор. И все же время ожидания Магеллану нигде не провести лучше, чем в Севилье, ибо эта гавань — порог в новую Индию; большинство кораблей отправляется на запад от берегов Гвадалквивира, и столь велик там наплыв купцов, капитанов, маклеров и агентов, что король приказывает учредить в Севилье особую торговую палату, знаменитую Casa de la Contratación, которую также называют Индийской палатой, Domus indica, или Casa del Oceano. В ней хранятся все донесения, отчетные карты и записи купцов и мореходов («Habet rex in ea

urbe ad oceana tantum negotia domum erectam ad quam euntes, redeumtesque visitores confluunt»*).

Индийская палата является одновременно и товарной биржей, и судовым агентством, правильнее всего было бы назвать ее управлением морской торговли, бюро справок и консультаций, где под контролем властей договариваются, с одной стороны, дельцы, финансирующие морские экспедиции, с другой — капитаны, желающие возглавить эти экспедиции. Так или иначе, но каждый, кто затевает новую экспедицию под испанским флагом, прежде всего должен обратиться в Casa de la Contratación за разрешением или поддержкой.

О необычайной выдержке Магеллана, его гениальном умении молчать и выжидать лучше всего свидетельствует уже то, что он не торопится совершить этот неминуемый шаг; чуждый фантазерства, расплывчатого оптимизма или тщеславного самообольщения, всегда все точно рассчитывающий, психолог и реалист, Магеллан заранее взвесил свои шансы и нашел их недостаточными. Он знает, что дверь в Casa de la Contratación откроется перед ним, только когда другие руки нажмут за него скобу. Сам Магеллан — кому он здесь известен? Что он семь лет плавал в восточных морях, что он сражался под началом Алмейды и Албукерке, не очень-то много значит в городе, таверны и кабаки которого кишат отставными aventurados и desperados**, в городе, где еще живы капитаны, плававшие под командой Колумба, Кортереала и Кабота. Что он прибыл из Португалии, где король не пожелал пристроить его к делу, что он эмигрант, строго говоря, даже перебежчик, тоже не очень его рекомендует. Нет, в Casa de la Contratación ему, неизвестному, безыменному fuoroscito***, не окажут доверия; поэтому Магеллан до поры до времени решает и вовсе не переступать ее порога. Он достаточно опытен и знает, что в таких случаях необходимо. Прежде всего, как всякий, кто предлага-

---

* Король учредил в этом городе палату специально для заокеанской торговли, куда стекались посетители как отправлявшиеся в путь, так и возвращавшиеся (*лат.*).

** Авантюристы и сорвиголовы (*исп.*).

*** Чужестранец (*исп.*).

ет новый проект, он должен обзавестись связями и «рекомендациями». Должен обеспечить себе поддержку людей влиятельных и имущих, прежде чем вступить в переговоры с теми, кто держит в своих руках власть и деньги.

Одним из этих необходимых знакомств предусмотрительный Магеллан, видимо, заручился еще в Португалии. Так или иначе, он встречает радушный прием в доме Дьего Барбосы, тоже некогда вышедшего из португальского подданства и уже в продолжение четырнадцати лет занимающего на испанской службе видную должность алькальда (начальника) арсенала. Уважаемое лицо в городе, кавалер ордена Сант-Яго, Барбоса является идеальным поручителем для недавнего пришельца. По некоторым сведениям, Барбоса и Магеллан были родственниками. Но теснее любого родства этих людей с первой же минуты сближает то обстоятельство, что Дьего Барбоса за много лет до Магеллана плавал в индийских морях. Сын его, Дуарте Барбоса, унаследовал от отца страсть к приключениям. Он тоже вдоль и поперек избороздил индийские, персидские и малайские воды и даже написал весьма ценимую в те времена «O libro de Duarte Barbosa» («Книга Дуарте Барбосы»). Эти трое людей тотчас становятся друзьями. Ведь если и в наши дни между колониальными офицерами или солдатами, сражавшимися во время войны на одном участке фронта, устанавливается связь на всю жизнь, то насколько же теснее сплоченными должны были чувствовать себя два-три десятка ветеранов морской службы, чудом уцелевшие в этих убийственных плаваниях и смертельных опасностях! Барбоса гостеприимно предлагает Магеллану поселиться у него в доме. Проходит немного времени, и дочь Барбосы, Барбара, начинает благосклонно относиться к тридцатисемилетнему, энергичному, серьезному Магеллану. Еще до конца года Магеллан назовет себя зятем алькальда — и тем самым приобретет в Севилье положение и опору. Утратив права гражданства в Португалии, он вновь обрел их в Испании. Отныне он считается уже не безродным пришельцем, но vecino de Sevilla — жителем Севильи. Хорошо зарекомендованный дружбой и предстоящим родством с Барбосой, обеспеченный приданым жены, которое составляет шестьсот тысяч мараведисов, он

может теперь, не задумываясь, перешагнуть порог Casa de la Contratación.

О переговорах, которые он там вел, о приеме, который был ему оказан, не сохранилось никаких достоверных сведений. Мы не знаем, в какой мере Магеллан, клятвенным обещанием связанный с Фалейру, раскрыл перед этой комиссией свои планы, и, вероятно, лишь ради грубой аналогии с Колумбом выдумали, что комиссия резко отклонила и даже высмеяла его предложение. Достоверно только, что Casa de la Contratación не захотела или не могла за собственный страх и риск отпустить средства на предприятие безвестного пришельца. Профессионалы обычно с недоверием относятся ко всему из ряда вон выходящему. Вот почему и на этот раз одно из решающих событий в истории совершилось не при поддержке авторитетных учреждений, а помимо них и вопреки им.

Индийская палата — эта важнейшая инстанция — не оказала Магеллану содействия. Даже первая из бесчисленных дверей, ведущих в аудиенц-зал короля, не раскрылась перед ним. Верно, то был мрачный день для Магеллана. Напрасен приезд сюда, напрасны рекомендации, напрасны представленные им выкладки, напрасны красноречие и горячность, вероятно проявленные им вопреки внутреннему решению. Все доводы Магеллана не смогли заставить трех членов комиссии, трех профессионалов, с доверием отнестись к его проекту.

Но на войне зачастую, когда полководец уже считает себя побежденным, уже велит трубить отступление, уже готовится очистить поле битвы, вдруг является посланец и медоточивыми устами сообщает, что противник отошел, уступив поле брани, и тем самым признал себя побежденным. Тогда — мгновение, одно только мгновение, и чаша весов из темной бездны отчаяния взлетает к вершинам счастья. Такую минуту впервые пережил Магеллан, неожиданно узнав, что на одного из трех членов комиссии, вместе с другими угрюмо и неодобрительно, как ему казалось, выслушавшего проект, последний произвел огромное впечатление и что Хуан де Аранда, фактор (правитель дел) Casa de la Contratación, очень хотел бы частным образом подробнее узнать об этом чрезвы-

чайно интересном и, по его мнению, богатом перспективами плане, почему и просит Магеллана снестить с ним.

То, что восхищенному Магеллану кажется милостью провидения, на самом деле имеет весьма земную подоплеку. Хуану де Аранде, как и всем императорам и королям, полководцам и купцам его времени, нет никакого дела (сколь бы трогательно это ни изображалось в наших исторических книгах для юношества) до изучения земного шара, до счастья человечества. Не душевное благородство, не бескорыстное воодушевление делают из Аранды покровителя этого плана: как опытный делец, правитель Casa de la Contratación просто-напросто почуял в предложении Магеллана выгодное предприятие. Чем-то, видимо, импонировал этому бывалому человеку безвестный португальский капитан: то ли ясностью доводов, то ли уверенной, исполненной достоинства осанкой, то ли, наконец, столь ощутимой внутренней убежденностью, — так или иначе, но Аранда, быть может, разумом, быть может, одним только инстинктом угадал за величием замысла возможность великих барышей. То, что официально, в качестве королевского чиновника, он отклонил предложение Магеллана как нерентабельное, не помешало Аранде войти с ним в соглашение в качестве частного лица, «от себя», как говорят на деловом жаргоне, взяться за финансирование его предприятия или по крайней мере заработать комиссионные на устройстве этого финансирования. Особо честным или корректным подобный образ действий — в качестве королевского чиновника отклонить проект, а в качестве частного лица из-под полы содействовать его осуществлению — вряд ли можно назвать, и правда, Casa de la Contratación впоследствии привлекла Хуана де Аранду к суду за финансовое участие в этом предприятии.

Магеллан, однако, поступил бы весьма глупо, если бы он вздумал считаться с соображениями морального порядка. Сейчас ему нужно двигать задуманное дело всеми средствами, без разбора — и в этом своем критическом положении он, вероятно, доверил Хуану де Аранде из своей и Руй Фалейру тайны больше, чем ему дозволяло их взаимное клятвенное обязательство. К великой радости Магеллана, Аранда полностью одобряет его план. Разумеется, прежде, чем поддержать

своими деньгами и влиянием это рискованное предприятие незнакомого ему человека, он делает то, что любой опытный коммерсант и в наши дни сделал бы на его месте: наводит в Португалии справки, насколько Магеллан и Фалейру заслуживают доверия. Лицо, которому он посылает секретный запрос, не кто иной, как Христофор де Аро, в свое время финансировавший первые экспедиции на юг Бразилии и располагающий обширнейшими сведениями о всякого рода предприятиях и людях. Его отзыв — опять-таки счастливая случайность — оказывается весьма благоприятным: Магеллан — испытанный, сведущий моряк, Фалейру — выдающийся космограф. Таким образом, устранен последний камень преткновения. С этой минуты правитель Индийской палаты, чье мнение в вопросах мореплавания считается при дворе решающим, берется за устройство дел Магеллана, а тем самым и своих собственных. В первоначальное товарищество — Магеллан и Фалейру — входит третий участник; в эту триаду Магеллан в качестве основного капитала вкладывает свой практический опыт, Фалейру — теоретические познания, а Хуан де Аранда — свои связи. С той минуты как замысел Магеллана стал собственным делом Аранды, тот уже не упускает ни единой возможности. Без промедления пишет он пространное письмо кастильскому канцлеру, в котором излагает важность этого предприятия и рекомендует Магеллана как человека «способного оказать вашей светлости великие услуги». Далее он сносится с отдельными членами королевского совета и устраивает Магеллану аудиенцию. Более того, ретивый посредник не только изъявляет готовность лично сопровождать Магеллана в Вальядолид, но ссужает его деньгами на расходы по поездке и пребыванию там. В мгновение ока ветер переменился. Превзойдены самые смелые надежды Магеллана. За один месяц он в Испании добился большего, чем у себя на родине за десять лет самоотверженной службы. И теперь, когда двери королевского дворца перед ним уже раскрылись, он пишет Фалейру, чтобы тот, недолго думая, спешил в Севилью: все идет как нельзя лучше.

С восторгом, казалось бы, должен приветствовать славный астролог беспримерный успех товарища, с благодарностью заключить его в объятья. Но в жизни Магеллана — в буду-

щем это ритмическое чередование останется неизменным — не бывает погожего дня без грозы. Уже то, что вследствие успешной инициативы Магеллана он, Фалейру, оказывается оттесненным на второй план, видимо, озлобляет этого тяжелодумного, желчного, впечатлительного человека. Негодование весьма мало сведущего в житейских делах звездочета достигает предела, когда он узнает, что Аранда берется ввести Магеллана во дворец не из одного человеколюбия, но выговорив себе участие в ожидаемых прибылях.

Происходят бурные сцены: Фалейру обвиняет Магеллана в том, что тот нарушил данное им слово и помимо его, Фалейру, согласия выдал тайну третьему лицу. В порыве истерической злобы он отказывается предпринять вместе с Арандой поездку в Вальядолид, хотя последний и берет на себя все расходы. Из-за нелепого упорства Фалейру предприятию уже грозит серьезная опасность, как вдруг Аранда получает радостную весть из Вальядолида: король согласен дать аудиенцию. Начинаются ожесточенные торги и переговоры из-за комиссионного вознаграждения, и только в последнюю минуту, у самых ворот Вальядолида, три партнера приходят наконец к соглашению. Шкуру медведя честно делят еще до начала охоты. Аранде за его посредничество предоставляется восьмая часть будущих прибылей (из которых Аранда, так же как Магеллан и Фалейру, никогда ни гроша не увидит), и это отнюдь не слишком высокая плата за услуги умного, энергичного человека. Он знает, как обстоят дела, и умеет за них приняться. Раньше, чем короля, еще неопытного в пользовании своей огромной властью, нужно привлечь на свою сторону королевский совет.

А дела в совете поначалу складываются скверно для проекта Магеллана. Трое из четырех его членов — кардинал Адриан Утрехтский[63], друг Эразма и будущий папа, королевский воспитатель престарелый Гийом де Круа и канцлер Соват — нидерландцы; их взоры устремлены прежде всего на Германию, где испанскому королю Карлосу в ближайшем будущем предстоит получить императорскую корону, благодаря чему Габсбурги сделаются властителями всего мира. Эти феодальные аристократы и книголюбы-гуманисты мало заинтересованы в проекте заморских поисков, воз-

можные выгоды которого пошли бы на пользу одной Испании. А единственным испанцем в королевском совете и в то же время единственным из его членов, в качестве попечителя Casa de la Contratación безусловно сведущим в вопросах мореплавания, по роковому стечению обстоятельств оказывается не кто иной, как прославленный, или, вернее, пресловутый, кардинал Фонсека, епископ Бургосский[64]. Право же, Магеллан должен был порядком испугаться, когда Аранда впервые назвал ему это имя, ибо всякий моряк знал, что у Колумба в продолжение всей его жизни не было врага более заклятого, чем этот практичный и меркантильный кардинал, с глубоким недоверием противоборствующий каждому фантастическому плану. Но Магеллану нечего терять — он может только выиграть. С исполненным решимости сердцем и высоко поднятой головой является он на заседание королевского совета отстаивать свой замысел и добиваться того, в чем он видит свое предназначение.

О том, что произошло на знаменательном заседании совета, у нас имеются разноречивые и, в силу своей разноречивости, ненадежные сведения. Несомненно только одно: в осанке этого мускулистого, загорелого человека и в его речах было нечто с первой же минуты производившее впечатление. Королевским советникам тотчас становится ясно: этот португальский капитан — не из числа пустомель и фантазеров, со времени успеха Колумба во множестве обивающих пороги дворца. Этот человек действительно глубже других проник на восток, и, когда он рассказывает об «Островах пряностей», о их географическом положении, их климатических условиях и несметных богатствах, его сведения благодаря знакомству с Вартемой и дружбе с Серрано оказываются достоверней, чем данные всех испанских архивов. Но Магеллан еще не пустил в ход главных козырей. Кивком головы подзывает он своего раба Энрике, вывезенного с Малакки. С нескрываемым изумлением смотрят королевские советники на тонкокостого, стройного малайца: человека этой расы они доселе не видели. Рассказывают, что Магеллан привел с собой еще и рабыню, уроженку острова Суматры, — она говорит и щебечет на непонятном языке так,

что кажется, будто в королевский аудиенц-зал залетел многоцветный колибри. Под конец в качестве наиболее веского довода Магеллан зачитывает письмо своего друга Франсишку Серрано, ныне великого визиря Тернате, в котором тот пишет: «Здесь новый мир, обширнее и богаче того, что был открыт Васко да Гамой».

Только теперь, пробудив интерес высоких господ, Магеллан переходит к своим выводам и требованиям. Как он уже говорил, «Острова пряностей», богатства которых не поддаются исчислению, расположены так далеко на восток от Индии, что пытаться достичь их с востока, как это делают португальцы, сперва огибая Африку, затем весь Индийский залив, а потом еще и Зондское море, — значит делать ненужный крюк. Гораздо вернее плыть с запада, к тому же этот путь предуказан испанцам и его святейшеством папой. Правда, поперек него, словно исполинское бревно, лежит вновь открытый континент — Америка, — который будто бы, как ошибочно считают, нельзя обогнуть с юга. Но у него, Магеллана, имеются точные сведения, что там расположен проход — paso, estrecho, — и он обязуется эту открытую ему и Руй Фалейру тайну использовать в интересах испанского правительства, если оно предоставит ему флотилию. Только следуя по этому предложенному им пути, Испания сможет опередить португальцев, уже нетерпеливо протягивающих руки к этой сокровищнице мира, и тогда — низкий поклон в сторону тщедушного, бледного юноши с выпяченной «габсбургской» губой — его величество король, уже теперь один из могущественнейших монархов своего времени, станет еще и богатейшим властителем на земле.

Но быть может, вставляет Магеллан, его величеству покажется непозволительным отправить экспедицию на Молуккские острова и тем самым вторгнуться в сферу, которую его святейшество папа при разделе земного шара отвел португальцам? Эти опасения напрасны. Благодаря своему точному знанию местонахождения островов, а также и математическим расчетам Руй Фалейру он, Магеллан, может наглядно доказать, что «Острова пряностей» расположены в зоне, которую его святейшество папа предоставил Испании; поэтому неразумно, если Испания, невзирая на свое

преимущественное право, будет медлить, дожидаясь, покуда португальцы утвердятся в этой области испанских королевских владений.

Магеллан умолкает. Теперь, когда доклад из практического становится теоретическим, когда нужно посредством карт и меридианов доказать, что Islas de la especéria являются владениями испанской короны, Магеллан отходит в сторону и предоставляет своему партнеру Руй Фалейру космографическое аргументирование. Руй Фалейру приносит большой глобус; из его доказательств явствует, что «Острова пряностей» расположены в другом полушарии, по ту сторону папской линии раздела, и, следовательно, в сфере владычества Испании; и тут же Фалейру пальцем вычерчивает путь, предлагаемый им и Магелланом. Правда, впоследствии все сделанные Фалейру вычисления долгот и широт окажутся фантастическими: этот кабинетный географ не имеет и приблизительного представления о ширине еще не открытого и не пересеченного кораблями Тихого океана. Двадцать лет спустя установят к тому же, что все его выводы неверны и «Острова пряностей» все-таки расположены в сфере владычества Португалии, а не Испании. Все, что, оживленно жестикулируя, рассказывает взволнованный астроном, окажется совершенно ошибочным. Но ведь люди всех званий охотно верят тому, что сулит им выгоду. А так как высокоученый космограф утверждает, что «Острова пряностей» принадлежат Испании, то советникам испанского короля отнюдь не пристало опровергать его приятные выводы. Правда, когда потом некоторые из них, разгоревшись любопытством, пожелают увидеть на глобусе место, где расположен вожделенный проход через Америку, будущий Магелланов пролив, то окажется, что он нигде не обозначен, и Фалейру заявит, что умышленно не отметил его, дабы великая тайна до последней минуты не была разгадана.

Император и его советники выслушали доклад, может быть, равнодушно, а может быть, уже с интересом. Но тут произошло самое неожиданное. Не гуманисты, не ученые воодушевляются этим проектом кругосветного плавания, которое должно будет окончательно определить объем Земли и доказать негодность всех существующих атласов, но имен-

но скептик Фонсека, епископ Бургосский, столь страшный для всех мореплавателей, высказывается за Магеллана. Возможно, что в душе он сознает свою вину перед мировой историей — преследование Колумба — и не хочет вторично прослыть врагом любой смелой мысли; возможно, что его убедили долгие частные беседы, которыми он удостоил Магеллана; во всяком случае, благодаря его выступлению вопрос решается положительно. В принципе проект одобрен, и Магеллан, как и Фалейру, получает официальное предложение в письменной форме представить совету его королевского величества свои требования и пожелания.

Этой аудиенцией, в сущности, все уже достигнуто. Но «имущему да воздается», и кто однажды приманил к себе счастье, за тем оно следует по пятам. Эти несколько недель принесли Магеллану больше, нежели долгие предшествующие годы. Он нашел жену, которая его любит, друзей, которые его поддерживают, покровителей, сделавших его замысел как бы своим собственным, короля, который ему доверяет; теперь в разгар игры к нему приходит еще один решающий козырь. В Севилью неожиданно является знаменитый судовладелец Христофор де Аро (богатый фламандский коммерсант, работающий в постоянном контакте с крупным интернациональным капиталом того времени — с Вельзерами, Фуггерами, венецианцами), за свой счет снарядивший уже немало экспедиций. До той поры главная контора Аро находилась в Лиссабоне. Но король Мануэл сумел и его озлобить своей скаредностью и неблагодарностью, поэтому все, что может досадить королю Мануэлу, ему как нельзя более на руку. Де Аро знает Магеллана, доверяет ему; вдобавок он считает, что и с коммерческой точки зрения предприятие сулит немалую прибыль, и поэтому обязуется в случае, если испанский двор и Casa de la Contratación откажутся сами вложить необходимые деньги, снарядить в компании с другими коммерсантами нужную Магеллану флотилию.

Благодаря этому неожиданному предложению шансы Магеллана удваиваются. Стучась в дверь Casa de la Contratación, он был просителем, ходатайствующим о предоставлении ему флотилии, и даже после аудиенции там еще пытаются оспаривать его претензии, настаивать на сниже-

нии требований. Но теперь, с обязательством де Аро в кармане, он может выступать как капиталист, как человек, диктующий свои условия. Если двор не желает рисковать, на его планах это не отразится — вправе гордо заявить Магеллан, ибо в деньгах он больше не нуждается и ходатайствует только о чести плыть под испанским флагом, за что и готов великодушно отчислить в пользу испанской короны пятую часть прибылей.

Это новое предложение, избавляющее испанский двор от всякого риска, настолько выгодно, что королевский совет весьма парадоксально, или, вернее, руководствуясь довольно здравыми соображениями, его отклоняет. Ведь если, прикидывает совет, столь прожженный делец, как Христофор де Аро, намерен вложить в это предприятие деньги, значит, оно чрезвычайно доходно. Не лучше ли поэтому финансировать его из королевской казны и таким образом обеспечить себе наибольшую прибыль, а вдобавок и славу? После недолгого торга все требования Магеллана и Руй Фалейру удовлетворяются, и дело с быстротой, отнюдь не свойственной работе испанских государственных канцелярий, проходит все инстанции. 22 марта 1518 года Карл V от имени своей (безумной) матери Хуаны подписывает, а затем и скрепляет собственноручной пышной подписью «Yo el Rey»* Капитуляцию — действительный, двусторонний договор с Магелланом и Руй Фалейру.

«Ввиду того — так начинается этот многословный документ — что вы, Фернандо де Магелланес, рыцарь, уроженец Португальского королевства, и бакалавр Руй Фалейру, подданный того же королевства, намерены сослужить нам великую службу в пределах, в коих находится предоставленная нам часть океана, повелеваем мы, чтобы с этой целью с вами было заключено нижеследующее соглашение».

Далее идет ряд пунктов; согласно первому из них, Магеллану и Фалейру предоставляется исключительное и преимущественное право открывать земли в этих неисследованных морях. «Вам, — дословно говорится витиеватым языком королевской канцелярии, — надлежит действовать успешно, дабы

---

* Я, король (*исп.*).

открыть ту часть океана, коя заключена в отведенных нам пределах, а так как было бы несправедливо, ежели бы, в то время как вы туда направляетесь, другие бы вам причиняли убытки, тем же самым делом занимаясь, тогда как вы взяли на себя бремя этого предприятия, — я, по милости и воле своей, повелеваю и обещаю, что на первые десять предстоящих лет мы никому не будем давать разрешения плыть по тому же пути с намерением совершать те открытия, кои вами были задуманы. А ежели кто-либо пожелает таковые плавания предпринять и станет на то наше соизволение испрашивать, то мы, прежде чем таковое соизволение даровать, намерены о том вас известить, дабы вы в продолжение того же времени, с тем же снаряжением и столькими же кораблями, как те другие, подобное открытие замыслившие, сами могли бы такое совершить». В следующих, касающихся денежных вопросов параграфах Магеллану и Фалейру «во внимание к доброй их воле и оказанным ими услугам» обещается двадцатая часть всех доходов, какие будут извлечены из вновь открытых ими земель, а также, если им удастся найти более шести новых островов, право владения двумя из них. Кроме того, как и в договоре, заключенном с Колумбом, им обоим, а также их сыновьям и наследникам, жалуется титул adelantado (наместника) всех этих земель и островов. То, что экспедицию для наблюдения над денежными расчетами будут сопровождать королевский контролер (veedor), казначей (tesorero) и счетовод (contador), отнюдь не ограничивает свободы действий обоих капитанов. Далее, король обязуется снарядить пять судов условленного тоннажа и на два года обеспечить их командой, продовольствием и артиллерией; этот документ всемирно-исторического значения заканчивается торжественными словами: «И касательно всего этого я обещаю и ручаюсь своей честью и королевским своим словом, что мною приказано будет все и каждую статью соблюдать в точности, как они здесь изложены, и с этой целью я повелел, чтобы означенная Капитуляция была составлена и моим именем подписана».

Но это не все. Издается еще особое постановление, предписывающее всем правительственным учреждениям и чиновникам Испании, от высших до низших, отныне и впредь ознакомиться с этим договором, дабы оказывать Магелла-

ну и Фалейру содействие во всех делах вообще и в каждом деле в частности (en todo é per todo, para agora é para siempre). Постановление гласит: «...Светлейшему инфанту дону Фернандо и инфантам, прелатам, герцогам, графам, маркизам, вельможам, магистрам орденов, командорам и вице-командорам, алькальдам, альгвасилам Нашего совета и двора и канцелярий и всем советникам, губернаторам, коррехидорам и заседателям, алькальдам, альгвасилам, старшинам, начальникам стражи, рехидорам[65] и прочим лицам, состоящим в судебных и гражданских должностях во всех городах, селениях и местностях наших королевств и владений», то есть всем сословиям, и учреждениям, и отдельным лицам, от наследника престола и до последнего солдата, черным по белому возвещает это постановление, что с данной минуты, в сущности, все испанское государство поставлено на службу двум безвестным португальским эмигрантам.

На большее Магеллан даже в самых смелых своих мечтах не мог надеяться. Но происходит нечто еще более чудесное и знаменательное. Карл V, в юношеские свои годы обычно медлительный и сдержанный, выказывает себя наиболее рьяным и пылким поборником этого плавания новых аргонавтов. По-видимому, в исполненном достоинства поведении Магеллана или в смелости самого предприятия было что-то необычайно разжегшее юного монарха, ибо он больше всех торопит снаряжение и отправку экспедиции. Еженедельно запрашивает он о ходе работ, и, где бы ни обнаружилось противодействие, Магеллану стоит только обратиться к нему, и королевская грамота тотчас сокрушает любое препятствие; едва ли не единственный раз за все свое долгое царствование этот обычно нерешительный и поддающийся чужому влиянию монарх с неизменной преданностью служил великой идее. Иметь своим помощником такого монарха, располагать силами целой страны — этот баснословный взлет должен казаться Магеллану чудом. За одну ночь он, безродный нищий, отверженный и презираемый, сделался адмиралом, кавалером ордена Сант-Яго, наместником всех островов и земель, которые будут им открыты, господином над жизнью и смертью, повелителем целой армады и прежде всего, наконец, и впервые — господином своих поступков.

Воля человека преодолевает тысячи препятствий

22 марта 1518 года — 10 августа 1519 года

Когда речь идет о великих достижениях, то, упрощая наблюдение, мир охотнее всего останавливается на драматических, ярких моментах из жизни своих героев: Цезарь, переходящий Рубикон, Наполеон на Аркольском мосту. Но зато в тени остаются не менее значительные творческие годы подготовки вошедшего в историю подвига, духовное, долготерпеливое, постепенное созидание. Так и в случае с Магелланом для художника, поэта соблазнительно, конечно, изобразить его в момент триумфа, плывущим по открытому им водному пути. На деле же его необычайная энергия всего разительнее проявилась в то время, когда еще нужно было добиваться флотилии, создавать ее и вопреки тысяче противодействий ее снаряжать. Бывший sobresaliente, «неизвестный солдат», оказывается поставленным перед геркулесовой задачей, ибо этому человеку, еще неопытному в вопросах организации, предстоит выполнить нечто совершенно новое и беспримерное — снарядить флотилию из пяти судов в еще небывалое плавание, для которого непригодны все прежние представления и масштабы. Никто не может помочь Магеллану советом в его начинаниях, ибо никому не ведомы эти не исхоженные еще земли, неизборожденные моря, в кото-

рые он решается проникнуть первым. Никто не может хотя бы приблизительно сказать ему, сколько времени продлится странствие вокруг еще не измеренного земного шара, в какие страны, в какие климатические пояса, к каким народам приведет его этот неведомый путь. Итак, с учетом всех мыслимых возможностей — полярной стужи и тропического зноя, ураганов и штилей, войны и торговли — на год, а может быть, на два, на три года должна быть снаряжена флотилия; и все эти с трудом поддающиеся учету нужды должен установить он один, во что бы то ни стало добиться их удовлетворения, преодолевая самые неожиданные противодействия. И лишь теперь, когда этому человеку, прежде только созидавшему свой план, открываются все трудности его выполнения, для всех становится очевидным внутреннее величие того, кто так долго оставался в тени. Тогда как его соперник по мировой славе, Колумб, этот «Дон Кихот морей», наивный, неопытный в житейских делах фантазер, предоставил все практические хлопоты по снаряжению экспедиции Пинсону и другим кормчим, Магеллан сам занимается всем непосредственно; он — подобно Наполеону — настолько же смел в создании общего плана, насколько точен и педантичен в продумывании, в расчете каждой детали. И в нем гениальная фантазия сочетается с гениальной точностью; как Наполеону за много недель до его молниеносного перехода через Альпы приходилось заранее высчитывать, сколько фунтов пороху, сколько мешков овса должно быть заготовлено на такой-то день, на таком-то этапе наступления — так и этот завоеватель вселенной, снаряжая флотилию, должен на два-три года вперед предусмотреть все необходимое и по возможности предотвратить все лишения. Исполинская задача для одного человека — в подготовке такого сложного, необозримо огромного начинания преодолеть все бесчисленные препятствия, неизбежно возникающие при воплощении идеи в жизнь. Месяцы борьбы потребовались только на то, чтобы раздобыть корабли. Правда, император дал слово принять все необходимые меры и приказал всем правительственным учреждениям оказывать Магеллану безусловное содействие. Но между приказом, даже императорским, и его выполнением остается немалый простор для всевозможных проволочек и задер-

жек; чтобы подлинно творческое начинание было завершено, его должен осуществлять сам творец. И действительно, подготовляя подвиг своей жизни, Магеллан не поручал другим ничего, даже самой ничтожной мелочи. Неустанно ведя переговоры с Индийской палатой, с правительственными учреждениями, с купцами, поставщиками, ремесленниками, он в сознании ответственности перед теми, кто вверит ему свою жизнь, вникает в каждую мелочь. Он сам принимает все товары, проверяет каждый счет, лично обследует все поступающее на борт — каждый канат, каждую доску, оружие и продовольствие; от верхушки мачт до киля он каждое из пяти судов знает так же хорошо, как любой ноготь на собственной руке.

И так же, как некогда люди, восстанавливавшие стены Иерусалима, работали с лопатой в одной и с мечом в другой руке, так и Магеллан, готовя свои суда к отплытию в неведомое, одновременно должен обороняться от злопыхательства и вражды тех, кто любой ценой стремится задержать экспедицию. Героическая борьба на три фронта: с внешними врагами, с врагами в самой Испании и с сопротивлением, которое косная земная материя неизменно оказывает любому начинанию, возвышающемуся над обычным уровнем. Но ведь только сумма преодоленных препятствий служит истинно правильным мерилом подвига и человека, его совершившего.

Первая атака против Магеллана исходит от Португалии. Разумеется, король Мануэл тотчас же узнал о заключении договора. Худшей вести ему не могли сообщить. Монополия торговли пряностями доставляет королевской казне двести тысяч дукатов в год, к тому же его флоту только теперь удалось пробраться к подлинно золотоносной жиле — Молуккским островам. Какое страшное бедствие, если испанцы в последнюю минуту с востока подойдут к этим островам и займут их! Опасность, грозящая королевской казне, слишком велика, чтобы король Мануэл не попытался любыми средствами воспрепятствовать роковой экспедиции. Поэтому он официально поручает своему послу при испанском дворе Алвару да Коште задушить зловредный замысел еще до его осуществления.

Алвару да Кошта энергично берется за дело с обоих концов сразу. Прежде всего он отправляется к Магеллану, пытаясь то кнутом, то пряником одновременно и соблазнить и запугать его. Неужели, дескать, Магеллан не сознает, какой грех он принимает на себя перед Богом и своим королем, служа чужому монарху? Неужели ему не известно, что законный его государь, дон Мануэл, намерен жениться на сестре Карла V, Элеоноре, и что если королю Мануэлу именно теперь будет причинен ущерб, этот брак расстроится? Не поступит ли Магеллан разумнее, честнее, добропорядочнее, снова отдав себя в распоряжение законного своего государя, который, разумеется, в Лиссабоне щедро наградит его? Но Магеллан хорошо знает, как мало расположен к нему его законный государь, и, справедливо полагая, что по возвращении на родину его ожидает не туго набитый мешок золота, а меткий удар кинжала, с учтивым сожалением заявляет: теперь уже поздно; он дал слово испанскому королю — и должен его сдержать.

Маленького человека Магеллана, ничтожную, но все же опасную пешку в разыгрываемой дипломатами шахматной партии, снять не удалось. Тогда Алвару да Кошта решается на дерзкий «шах королю». Об упорстве, с которым он докучал юному монарху, свидетельствует его собственноручное письмо к королю Мануэлу: «Что касается дела Фернандо Магеллана, то одному Богу известно, сколько я хлопотал и какие прилагал старания. Я весьма решительно говорил об этом деле с королем... указывал ему, сколь это неблаговидный и предосудительный поступок, когда один король, вопреки ясно выраженной воле другого дружественного короля, принимает на службу его подданных. Просил я его также уразуметь, что не время сейчас уязвлять ваше величество, к тому же делом столь незначительным и ненадежным. Ведь у него достаточно собственных подданных и людей, дабы во всякое время возможно было делать открытия, не прибегая к услугам тех, кто недоволен вашим величеством. Представлял ему, как сильно ваше величество оскорбится, узнав, что эти люди просили дозволения вернуться на родину и не получили такового от испанского правительства. Наконец, я попросил ради его собственного и вашего

величества блага выбрать одно из двух: либо дозволить этим людям вернуться на родину, либо на год отложить их экспедицию».

Восемнадцатилетний монарх, лишь недавно взошедший на престол, еще не очень опытен в дипломатических делах. Поэтому он не может полностью скрыть своего изумления перед наглой ложью Алвару, будто Магеллан и Фалейру жаждут вернуться на родину и только испанское правительство чинит им в этом препятствия. «Он был настолько ошеломлен — сообщает да Кошта — что меня самого это поразило».

Во втором предложении португальского посланника — на один год отложить экспедицию — он тоже сразу угадывает подвох. Ведь именно этот один год и нужен Португалии, чтобы на своих кораблях опередить испанцев. Холодно отклоняет молодой король предложения да Кошты: пусть лучше посол переговорит с кардиналом Адрианом Утрехтским. Кардинал, в свою очередь, отсылает посла к королевскому совету, совет — к епископу Бургосскому. Путем таких проволочек, сопровождаемых неизменными заверениями, что король Карл V и в помыслах не имеет причинять хотя бы малейшие затруднения своему брату королю Мануэлу, дипломатический протест Португалии потихоньку кладется под сукно. Алвару да Кошта ничего не добился, более того: ретивое вмешательство Португалии неожиданно пошло на пользу Магеллану. Странным образом в судьбе вчера еще безвестного идальго скрещиваются капризы двух великих властителей мира. Лишь в ту минуту, когда король Карл доверил Магеллану флотилию, бывший незначительный офицер португальской службы становится важной персоной в глазах короля Мануэла. И опять-таки — с минуты, когда король Мануэл любой ценой пожелает вернуть себе Магеллана, король Карл уже ни за что его не уступит. И теперь чем больше Испания будет стараться ускорить отплытие, тем ожесточеннее будет мешать ему Португалия.

Дальнейшая работа по тайному саботажу экспедиции в основном поручается Лиссабоном Себастьяну Алваришу, португальскому консулу в Севилье. Этот чиновный шпион постоянно шныряет вокруг кораблей флотилии, записыва-

ет и подсчитывает все принимаемые на борт грузы; кроме того, он завязывает весьма дружеские отношения с испанскими капитанами и при случае с притворным негодованием спрашивает, правда ли, что кастильские дворяне вынуждены будут беспрекословно повиноваться двум безродным португальским искателям приключений? А ведь национализм, как мы знаем по опыту, — струна, звучащая даже под самой неискусной рукой; вскоре уже все севильские моряки бранятся и негодуют. Как? Этим перебежчикам, не совершившим ни одного плавания под испанским флагом, за пустое бахвальство доверили флотилию, произвели их в адмиралы и кавалеры ордена Сант-Яго? Но Алваришу мало глухого перешептывания и ропота за капитанскими пирушками и в тавернах. Он стремится к настоящему восстанию, которое могло бы стоить Магеллану адмиральской должности, а может быть — тем лучше! — и жизни. И такого рода возмущение искусный провокатор инсценирует, надо отдать ему справедливость, с подлинным мастерством.

В любой гавани слоняется бесчисленное множество тунеядцев, не знающих, как убить время. И вот в солнечный октябрьский день — ведь нет ничего приятнее для лодыря, как смотреть на работу других, — толпа праздношатающихся собралась у «Тринидада», флагманского судна Магеллана, только что пришвартованного к набережной для конопаченья и килевания. Заложив руки в карманы, а быть может, и неспешно перетирая зубами новое вест-индское зелье — табак, следят севильцы за тем, как корабельные мастера смолой и паклей тщательно законопачивают все щели. Вдруг кто-то из толпы указывает на грот-мачту «Тринидада» и возмущенно кричит: «Что за наглость! У этого безродного бродяги Магеллана хватает бесстыдства здесь, в Севилье, в гавани королевского испанского флота, на испанском судне поднять португальский флаг! Разве может андалузец стерпеть такую обиду?» В первую минуту зеваки, к которым обращена эта пылкая речь, не замечают, что ярый патриот, так страстно негодующий на обиду, нанесенную национальной чести, вовсе не испанец, что это португальский консул Себастьян Алвариш играет роль полицейского провокатора. На всякий случай они усердно вторят его выкрикам. Заслышав

шум и гам, со всех сторон сбегаются другие зеваки. А затем уже достаточно кому-то предложить без долгих разговоров попросту сорвать иностранный флаг, и вся орава устремляется на корабль.

Магеллан, с трех часов утра наблюдающий за работой корабельных мастеров, поспешно разъясняет прибежавшему вместе с толпой алькальду, что здесь произошло недоразумение. Только по чистой случайности на грот-мачте не развевается испанский флаг: как раз сегодня его сняли, чтобы подновить. А тот, другой флаг, отнюдь не португальский, а его собственный, адмиральский, который он обязан поднимать на флагманском судне. Учтиво разъяснив алькальду суть происшедшего недоразумения, Магеллан просит его убрать с борта всех этих бесчинствующих буянов.

Но разъярить толпу людей или даже целый народ всегда легче, чем угомонить. Толпа требует потехи, и алькальд становится на ее сторону. Прежде всего — долой иностранный флаг, не то они сами распорядятся! Тщетно старается доктор Матьенсо, высшее должностное лицо Индийской палаты, водворить мир на борту. Алькальд тем временем раздобыл патриотическое подкрепление — коменданта гавани с внушительным отрядом полицейских. Комендант обвиняет Магеллана в оскорблении испанской короны и приказывает альгвасилам арестовать капитана, осмелившегося в испанской гавани поднять флаг португальского короля.

Теперь Матьенсо принимает энергичные меры. Он предостерегает коменданта: для королевского чиновника довольно-таки рискованное предприятие арестовать капитана, которого сам король облек высокими полномочиями, скрепив их печатью и собственноручным письмом. Разумнее будет ему не ввязываться в это дело. Но слишком поздно! Между экипажем Магеллана и портовым сбродом уже произошло столкновение. Мечи выхвачены из ножен, и только присутствие духа и невозмутимое спокойствие Магеллана предотвращают кровавое побоище, столь искусно подстроенное провокатором, удовлетворенно посматривающим на дело своих рук. Ладно, заявляет Магеллан. Он готов спустить флаг и даже очистить судно; пусть чернь обходится с королевским достоянием, как ей заблагорассудится, —

ответственность за возможные убытки, конечно, падет на портовых чиновников. Теперь разгорячившемуся алькальду становится не по себе: оскорбленные в своей национальной чести молодцы расходятся с глухим ворчанием, чтобы уже через несколько дней отведать кнута, ибо Магеллан немедленно написал Карлу V, заявляя, что в его, Магеллана, лице нанесено оскорбление королевской власти, и Карл V, ни минуты не колеблясь, становится на сторону своего адмирала: портовые чиновники несут наказание. Алвариш возликовал слишком рано, и работа беспрепятственно продолжается.

Железным спокойствием Магеллана посрамлена коварная вылазка. Но в таком сложном предприятии едва успеешь зачинить одну прореху, как уже обнаруживается другая. Каждый день приносит новые неприятности. Сначала Casa de la Contratación оказывает пассивное сопротивление, и лишь после того, как над самым ухом чиновников взрывается собственноручно подписанный императором указ, они перестают прикидываться глухими. Но затем, в самый разгар сборов, казначей вдруг заявляет, что касса Casa de la Contratación пуста, и снова начинает казаться, что отсутствие денег до бесконечности затянет дело. Однако непреклонная воля Магеллана преодолевает и это препятствие: он уговаривает двор принять в долю ряд состоятельных горожан. Из восьми миллионов мараведисов — сумма, в которую должно обойтись снаряжение армады, — два миллиона немедленно доставляет консорциум, наспех организованный Христофором де Аро; в награду за эту услугу он получает право на тех же основаниях участвовать и в последующих экспедициях.

Только теперь, когда денежные дела упорядочены, можно по-настоящему приняться за подготовку кораблей к плаванию и за снабжение их всем необходимым. Не очень-то царственный вид имели эти, согласно договору, поставленные его величеством пять галионов, когда они впервые появились в Севильском порту. «Корабли, — злорадно доносил в Португалию шпион Алвариш, — ветхи и все в заплатах. Я бы не решился плыть на них даже до Канарских островов, ибо борта у них мягкие, как масло». Но Магеллану, испытанному в дальних плаваниях моряку, хорошо известно, что

в пути старая кляча зачастую надежнее молодого коня и что добросовестный ремонт может даже самые поношенные суда снова сделать годными; не теряя времени, покуда корабельные мастера день и ночь по его указаниям чинят и подправляют старые посудины, он приступает к набору опытных моряков для команды.

Но новые трудности уже притаились в тиши! Хотя глашатаи с барабанным боем уже прошли по улицам Севильи, хотя вербовщики добрались до Кадиса и Палоса — необходимых двухсот пятидесяти человек все же не удается собрать; видно, распространился слух, что с этой экспедицией не все обстоит благополучно: вербовщики не в состоянии ясно и определенно сказать, куда, в сущности, она направляется; то, что суда — небывалый еще случай! — забирают с собой на целых два года продовольствия, тоже внушает морякам немалые опасения. Вот почему оборванцы, которых в конце концов удается завербовать, мало походят на заправский экипаж; эта разношерстная ватага скорее напоминает воинов Фальстафа, в ней представлены все племена и народы: испанцы и негры, баски и португальцы, немцы, уроженцы Кипра и Корфу, англичане и итальянцы, но все настоящие desperados, согласные продать жизнь хоть самому дьяволу и с одинаковой охотой (или неохотой) готовые плыть на север и на юг, на восток или на запад, были бы деньги да надежда на хорошую поживу.

Не успели сколотить команду, как уже возникает новое осложнение. Casa de la Contratación возражает против произведенного Магелланом набора; ее чиновники находят, что он завербовал в королевскую испанскую армаду слишком много португальцев, и заявляют, что не станут выплачивать чужакам ни одного мараведиса. Но королевская грамота дает Магеллану неограниченное право вербовать людей по своему усмотрению (...que la gente de mar que se tomase fuese a su contento como persona que de ella tenia mucha experiencia*), и он на этом праве настаивает; итак, снова письмо к королю, снова просьба о помощи. Но на сей раз Магеллан задел боль-

---

* ...чтобы экипаж был составлен согласно его собственным, как лица имеющего большой опыт, желаниям (*исп.*).

ное место. Якобы из нежелания оскорбить короля Мануэла, на деле же — из опасения, как бы Магеллан со своими португальцами не почувствовал себя слишком самостоятельным, Карл V разрешает оставить на всю флотилию не свыше пяти португальцев. А тем временем уже возникают новые затруднения: то в срок не доставляются товары, экономии ради закупленные в других областях и даже в Германии, то вдруг один из капитанов-испанцев отказывает адмиралу в повиновении и в присутствии команды оскорбляет его — опять приходится обращаться ко двору, опять просить королевского бальзама для врачевания ран. Каждый день несет с собой новые дрязги, из-за всякой мелочи завязывается нескончаемая переписка с соответствующими ведомствами и с королем. Указ следует за указом; десятки раз кажется, что вся армада потерпит крушение не успев даже покинуть Севильскую гавань.

И снова неуклонной, настойчивой энергией Магеллан преодолевает все препятствия. Ретивый посол короля Мануэла вынужден с тревогой признать, что все его грязные происки, все его надежды расстроить экспедицию разбились о терпеливое, но неизменно стойкое сопротивление Магеллана. Уже пять кораблей, заново оснащенных, забравших на борт почти весь груз, ожидают приказа выйти в море, уже, кажется, невозможно чем-нибудь повредить Магеллану. Но в колчане Алвариша еще хранится последняя стрела, к тому же отравленная; туго и коварно натягивает он тетиву, чтобы поразить Магеллана в наиболее уязвимое место. «Полагая, что теперь пришло время, — доносит тайный агент своему доверителю, королю Мануэлу, — высказать то, что ваше величество мне поручило, я отправился к Магеллану на дом. Я нашел его занятым укладкой продовольствия и других вещей в ящики и коробы. Из этого я заключил, что он окончательно утвердился в своем зловредном замысле, и, памятуя, что это последняя моя с ним беседа, еще раз напомнил ему, сколь часто я, как добрый португалец и его друг, пытался его удержать от той великой ошибки, которую он намерен совершить. Я доказывал, что лежащий перед ним путь таит не меньше страданий, чем колесо святой Екатерины[66], и что не в пример благоразумнее было бы ему возвратиться на родину, под сень вашего благословения и милостей,

на которые он смело может рассчитывать... Я убеждал его, наконец, уяснить себе, что все знатные кастильцы в этом городе отзываются о нем не иначе как о человеке низкого происхождения и дурного воспитания и что с тех пор, как он противопоставил себя стране вашего величества, его повсюду презирают как предателя».

Но все эти угрозы не производят ни малейшего впечатления на Магеллана. То, что сейчас под личиной дружбы сообщает Алвариш, для него отнюдь не ново. Никто лучше его самого не знает, что Севилья, Испания враждебно к нему настроены, что кастильские капитаны со скрежетом зубовным подчиняются ему как адмиралу. Но пусть ненавидят его господа севильские алькальды, пусть брюзжат завистники и ропщут люди «голубой крови» — теперь, когда корабли готовы к отплытию, никто, никакой император, никакой король уже не остановит его, не помешает ему. Выйдя наконец в открытое море, он уже будет вне опасности. Там он властелин над жизнью и смертью, властелин своего пути, властелин своих целей, там ему некому служить, кроме своей великой задачи.

Но Алвариш еще не разыграл последнего, заботливо приберегаемого козыря. Теперь он его выкладывает. В самый последний раз, с лицемерной ласковостью говорит он, хочет он дать Магеллану «дружеский» совет: он «искренно» призывает его не доверять медоточивым речам кардинала и даже обещаниям испанского короля. Правда, король назначил его и Фалейру адмиралами и тем самым, казалось бы, вручил им неограниченную власть над флотилией. Но уверен ли Магеллан, что другим лицам не даны одновременно тайные инструкции, негласно ограничивающие его полномочия? Пусть он себя не обманывает, а главное — не дается в обман другим. Несмотря на грамоты и печати, его безраздельная власть построена на песке; чиновники, сопровождающие экспедицию — больше он не вправе открыть Магеллану, — снабжены всякого рода секретными инструкциями и постановлениями, «о которых Магеллан узнает, когда будет уже поздно для спасения чести».

«Поздно для спасения чести...» Магеллан невольно вздрагивает. Это движение несокрушимого человека, умеюще-

го железной волей подавлять любое волнение, выдает, что стрела попала в самое уязвимое место, и стрелок с гордостью сообщает: «Он был чрезвычайно изумлен, что мне столь многое известно». Но созидатель всегда лучше других знает как скрытый изъян своего создания, так и степень его опасности: то, о чем намеками говорит Алвариш, давно известно Магеллану. С некоторых пор он замечает известную двойственность в поведении испанскою двора, и различные симптомы заставляют его опасаться, что с ним ведут не совсем чистую игру. Разве император однажды уже не нарушил договора, запретив взять на борт свыше пяти португальцев? Неужто при дворе его и вправду считают тайным агентом Португалии? А эти навязанные ему люди — все эти veedores, contadores, tesoreros*, — только ли они чиновники Счетной палаты? Не назначены ли они сюда, чтобы тайно следить за ним и в конце концов вырвать у него из рук командование? Давно уже ощущает Магеллан на своей спине холодное дыхание ненависти и предательства; доля истины — нельзя не признать этого — заложена в вероломных инсинуациях хорошо осведомленного шпиона, и он, все так точно рассчитавший, оказывается безоружным перед лицом опасности. Подобное чувство испытывает человек, севший за карточный стол в компании незнакомцев и еще прежде, чем взяться за карты, встревоженный подозрением, что это сговорившиеся между собой шулеры.

В эти часы Магеллан переживает столь незабываемо воссозданную Шекспиром трагедию Кориолана, из чувства оскорбленной чести ставшего перебежчиком. Подобно Магеллану, Кориолан — доблестный муж, патриот, долгие годы самоотверженно служивший родине, отвергнутый ею и в ответ на эту несправедливость предоставивший свои еще не исчерпанные силы в распоряжение противника. Но никогда, ни в Риме, ни в Севилье, перебежчика не спасают чистые побуждения. Словно тень, сопутствует ему подозрение: кто покинул одно знамя — может изменить и другому, кто отрекся от одного короля — способен предать и другого. Перебежчик гибнет и победив и потерпев поражение; оди-

---

* Контролеры, счетоводы, казначеи (*исп.*).

наково ненавистный победителям и побежденным, он всегда один против всех. Но трагедия неизменно начинается лишь тогда, когда ее герой постигает трагизм своего положения. Быть может, в эту секунду Магеллан впервые предощутил все грядущие бедствия.

Но быть героем — значит сражаться и против всесильной судьбы. Магеллан решительно отстраняет искусителя. Нет, он не вступит в соглашение с королем Мануэлем, даже если Испания плохо отблагодарит его за заслуги. Как честный человек, он останется верен и своему слову, и своим обязательствам, и королю Карлу. Раздосадованный Алвариш уходит ни с чем; поняв, что только смерть может сломить волю этого непреклонного человека, он заканчивает посылаемый в Лиссабон рапорт благочестивым пожеланием: «Да будет угодно Всевышнему, чтобы их плавание уподобилось плаванию братьев Кортереал», — другими словами: пусть Магеллан и его флотилия так же бесследно исчезнут в неведомых морях, как отважные братья Кортереал, место и причина гибели которых навеки остались тайной. Если это «благочестивое» пожелание сбудется, если Магеллан действительно погибнет в пути, тогда «вашему величеству не о чем больше тревожиться, и ваша мощь будет по-прежнему внушать зависть всем монархам мира».

Стрела коварного шептуна не сразила Магеллана и не заставила отступиться от своей задачи. Но яд ее, горький яд сомнения, будет отныне разъедать его душу. С этой минуты Магеллан знает или предполагает, что он и на своих собственных судах ежечасно окружен врагами. Но это тревожное чувство не только не ослабляет воли Магеллана, а, напротив, закаляет ее для нового решения. Кто чует близость бури, тот знает, что одно лишь может спасти корабль и команду: если капитан железной рукой держит руль, а главное — держит его один.

Итак, прочь все, что препятствует его воле! Кулаками, локтями отталкивает он каждого, кто может стать ему поперек дороги. Именно теперь, почувствовав за своей спиной всех этих «контролеров» и «казначеев», Магеллан решает действовать с предельной самостоятельностью и беспощад-

ностью. Он знает, что в решающую минуту только одна воля должна решать и руководить: недопустимо, чтобы командование флотилией и впредь было разделено между двумя capitán generales, двумя адмиралами. Один должен стоять над всеми, а если нужно — и против всех. Поэтому он уже не хочет обременять себя в столь опасном плавании таким взбалмошным равноправным начальником, как Руй Фалейру, — прежде чем суда выйдут из гавани, этот балласт должен быть сброшен за борт. Ведь астроном уже давно стал для Магеллана ненужной обузой. Ничем не помог ему теоретик в эти изнурительные, тяжкие месяцы. Не дело звездочета вербовать матросов, конопатить суда, заготовлять провизию, испытывать мушкеты и писать уставы; взять его с собой — значит навесить себе камень на шею, а у Магеллана должны быть развязаны руки, чтобы бороться, направо и налево отбиваться от опасностей, встающих перед ним, и от заговоров, составленных за его спиною.

Как удалось Магеллану, проявив здесь в полной мере свое дипломатическое мастерство, отделаться от Фалейру, мы не знаем. Говорят, что Фалейру сам составил свой гороскоп и, установив, что ему не вернуться живым из этого плавания, добровольно от него отступился. С внешней стороны — уход деликатно спроваженного Фалейру обставляется чем-то вроде повышения: императорский указ назначает его единоначальным адмиралом второй флотилии (только на бумаге имеющей борта и паруса), взамен чего Фалейру уступает Магеллану свои карты и астрономические таблицы. Таким образом, устранена последняя из бесчисленных трудностей, и предприятие Магеллана снова становится тем, чем оно было вначале: *его* мыслью, *его* кровным делом. На него одного падут теперь все тяготы и труды, ответственность и опасности, ему же достанется и высшая духовная радость творческой натуры: отвечая только перед самим собой, завершить им самим избранное дело своей жизни.

Отплытие

20 сентября 1519 года

Десятого августа 1519 года, через год и пять месяцев после того, как Карл, будущий властелин Старого и Нового Света, подписал договор, все пять судов покидают наконец севильский рейд, чтобы отправиться вниз по течению к Сан-Лукар-де-Баррамеда[67], где Гвадалквивир впадает в открытое море; там произойдет последнее испытание флотилии и будут приняты на борт последние запасы продовольствия. Но в сущности, прощание уже свершилось: в церкви Санта Мария де ла Виктория Магеллан, в присутствии всего экипажа и благоговейно созерцавшей это зрелище толпы, преклонил колена и, произнеся присягу, принял из рук коррехидора Санчо Мартинеса де Лейва королевский штандарт. Быть может, в эту минуту ему вспомнилось, что и перед первым своим отплытием в Индию он так же преклонил колена в соборе и так же принял присягу. Но флаг, на верность которому он тогда присягал, был другой, португальский, и не за Карла Испанского, а за короля Португалии, Мануэла, поклялся он тогда пролить свою кровь. И с таким же благоговением, с каким некогда юный sobresaliente взирал на адмирала Алмейду, когда тот, развернув стяг, поднял его над головами коленопреклоненной толпы, смотрят сейчас две-

сти шестьдесят пять человек экипажа на Магеллана — вершителя их судеб.

Здесь в Сан-Лукарской гавани, против дворца герцога Медина-Сидониа, Магеллан производит последний осмотр перед отплытием в неведомую даль. Он проверяет снова и снова свою флотилию перед выходом так же заботливо и трепетно, как музыкант настраивает свой инструмент, хотя эти пять кораблей он уже знает так же досконально, как собственное тело. А как он был напуган, когда впервые увидел эти наспех закупленные суда — запущенные, изношенные. Но с тех пор проделана немалая работа, и все эти ветхие галионы приведены в исправность. Прогнившие брусья и балки заменены новыми, от киля и до верхушек мачт везде все просмолено и навощено, проконопачено и вычищено. Каждую балку, каждую доску Магеллан собственноручно выстукал, чтобы определить, не подгнило ли дерево, не завелась ли в нем червоточина; каждый канат проверил он, каждый болт, каждый гвоздь. Из добротного холста сделаны свежевыкрашенные паруса, осененные крестом святого Яго, покровителя Испании; новы и прочны якорные цепи и канаты, до блеска начищены металлические части, каждая мелочь заботливо и аккуратно пригнана к месту: никакой шпион, никакой завистник не осмелился бы теперь смеяться над обновленными, помолодевшими кораблями. Правда, быстроходными они не стали, эти толстобрюхие, округлые парусники, и для гонок вряд ли приспособлены, но изрядная ширина и большая осадка делают их довольно вместительными и надежными; даже при сильном волнении, как раз вследствие своей неповоротливости, они, насколько в этом мире можно что-нибудь предвидеть, смогут выдержать жестокие штормы. Самый большой из этой корабельной семьи — «Сан-Антонио», вместимостью в сто двадцать тонн. Но по какой-то причине, нам не известной, Магеллан предоставляет командование им Хуану де Картахене, а флагманским судном, capitána, избирает «Тринидад», хотя грузоподъемность его на десять тонн меньше. За ним по ранжиру следуют девяностотонная «Консепсьон», капитаном которой назначен Гаспар Кесада, «Виктория» (судно сделает честь своему имени) под начальством Луиса де

Мендосы, вместимостью в восемьдесят пять тонн, и «Сант-Яго» — семьдесят пять тонн — под командой Жуана Серрано. Магеллан настойчиво стремился составить свою флотилию из разнотипных кораблей: менее крупные из них, ввиду их небольшой осадки, он предполагает использовать в качестве передовых разведчиков. Но с другой стороны, немало искусства потребуется от мореплавателей, чтобы в открытом море сомкнутым строем вести столь разнородную флотилию.

Магеллан переходит с корабля на корабль, чтобы прежде всего везде проверить грузы. А ведь сколько раз он уже карабкался вверх и вниз по каждому трапу, сколько раз он вновь и вновь составлял подробнейшую опись всего снаряжения и запасов: благодаря уцелевшим архивным документам мы можем убедиться, с какой заботливостью и тщательностью, с каким учетом мельчайших деталей было продумано и подготовлено одно из самых фантастических начинаний в мировой истории. До последнего мараведиса обозначена в этих объемистых реестрах стоимость каждого молотка, каждого каната, каждого мешочка соли, каждой стопы бумаги: и эти сухие, ровные, выведенные равнодушной рукою писца столбцы цифр, со всеми их графами и подразделениями, пожалуй, красноречивей любых патетических слов свидетельствуют о подлинно гениальном терпении этого человека. Магеллан как опытный моряк понимал всю ответственность такой экспедиции в еще никому не ведомые земли. Он знал, что самый ничтожный предмет, забытый по недосмотру или по легкомыслию, забыт уже безвозвратно на все время плавания; в этих особых условиях никакое упущение, никакая ошибка уже не могут быть ни заглажены, ни исправлены, ни искуплены. Любой гвоздь, любая кипа пакли, любой слиток свинца или капля масла, любой листок бумаги в неведомых странах, куда он держит путь, представляют ценность, которой не добыть ни деньгами, ни даже собственной кровью; какая-нибудь одна позабытая запасная часть может вывести судно из строя; из-за одного неверного расчета все предприятие может пойти прахом.

А поэтому самое тщательное, самое заботливое внимание на этом последнем смотре уделяется продовольствию. Сколько съестного нужно запасти на двести шестьдесят

пять человек для путешествия, продолжительность которого нельзя определить даже приблизительно? Сложнейшая задача, ибо один из множителей — длительность пребывания в пути — не известен. Только Магеллан — он один! — предугадывает (осторожности ради он этого не откроет команде), что пройдут долгие месяцы, даже годы, прежде чем можно будет пополнить взятые с собой запасы; потому лучше захватить провиант в избытке, чем в обрез, и запасы его, принимая во внимание малую вместимость судов, в самом деле внушительны. Альфу и омегу питания составляют сухари; двадцать одну тысячу триста восемьдесят фунтов этого груза принял Магеллан на борт; стоимость его вместе с мешками — триста семьдесят две тысячи пятьсот десять мараведисов; насколько человек способен предвидеть, можно считать, что этого огромного количества хватит на два года. Да и вообще при чтении провиантской описи Магеллана видишь перед собой скорее современный трансокеанский пароход грузоподъемностью в двадцать тысяч тонн, чем пять рыбачьих парусников общей вместимостью в пятьсот — шестьсот тонн (десять тогдашних тонн соответствуют одиннадцати тоннам наших дней). Чем только не загромоздили тесный, душный трюм! Вместе с мешками муки, риса, фасоли, чечевицы хранятся пять тысяч семьсот фунтов солонины; двести бочонков сардин, девятьсот восемьдесят четыре головки сыру, четыреста пятьдесят связок луку и чесноку; кроме того, припасены еще разные вкусные вещи, как, например, тысяча пятьсот двенадцать фунтов меда, три тысячи двести фунтов изюма, коринки и миндаля, много сахара, уксуса и горчицы. В последнюю минуту на борт пригоняют еще семь живых коров (хоть бедным четвероногим осталось уже недолго жить); таким образом, на первое время обеспечено молоко, а на дальнейшее — свежее мясо. Но вино для этих здоровых парней поважнее молока. Чтобы поддерживать в команде хорошее расположение духа, Магеллан велел закупить в Хересе лучшего, самого что ни на есть лучшего, вина, не более и не менее как четыреста семнадцать мехов и двести пятьдесят три бочонка; и здесь теоретически рассчитано на два года вперед: каждому матросу обеспечено по кружке вина к обеду и ужину.

Со списком в руке Магеллан переходит с корабля на корабль, от предмета к предмету. Какого труда, вспоминает он, стоило все это собрать, проверить, сосчитать, оплатить! Какая борьба велась днем с чиновниками и купцами, какой страх нападал на него по ночам: а вдруг что-то забыто, вдруг что-то неверно подсчитано! Но вот наконец, кажется, и все, что потребуется в этом плавании для двухсот шестидесяти пяти едоков. Люди — матросы — всем обеспечены. Но ведь и корабли — живые, бренные существа, и каждый из них в борьбе со стихией расходует немалую долю своей силы сопротивления. Буря рвет паруса, треплет и мочалит канаты, морская вода точит дерево и разъедает железо, солнце выжигает краску, ночной мрак поглощает светильное масло и свечи. Значит, каждая деталь оснастки — якоря и дерево, железо и свинец, мощные стволы для замены мачт, холст для новых парусов — должна иметься в двойном, если не больше, количестве. Не менее сорока возов лесных материалов погружено на суда, чтобы безотлагательно исправить любое повреждение, заменить любую доску, любую планку; и тут же бочки с дегтем, варом, воском и паклей для конопаченья щелей. Разумеется, не забыт и арсенал необходимых инструментов: клещи, пилы, буравы, винты, лопаты, молотки, гвозди и кирки. Грудами лежат десятки гарпунов, тысячи рыболовных крючков и неводов, чтобы в пути ловить рыбу, которая, наряду с запасом сухарей, составит основное питание команды. Освещение обеспечено на долгое время: на борту имеется восемьдесят девять небольших фонарей и четырнадцать тысяч фунтов свечей, не считая массивных восковых свечей для церковной службы. На долгий срок рассчитан и запас необходимых навигационных приборов — компасов и компасных игл, песочных часов, астролябий, квадрантов и планисфер, а для чиновников имеется пятнадцать новехоньких бухгалтерских книг (ибо где, кроме Китая, можно во время этого путешествия раздобыть хоть листок бумаги). Предусмотрены также и неприятные случайности: налицо аптекарские ящики с лекарствами, рожки для цирюльников, кандалы и цепи для бунтовщиков, но в не меньшей мере проявлена и забота о развлечениях: на борту имеется пять больших барабанов и двадцать бубнов, найдется, верно, и несколько скрипок, дудок и волынок.

Это лишь небольшое извлечение из поистине гомерической судовой описи Магеллана, только наиболее существенные из тысяч предметов, потребных команде и судам в столь необычном плавании. Но ведь эту флотилию, которая вместе со всем снаряжением обошлась в восемь миллионов мараведисов, будущий властелин Старого и Нового Света отправляет в неведомую даль не из чистой любознательности. Пять судов Магеллана должны привезти из плавания не только космографические наблюдения, но и деньги, как можно больше денег консорциуму предпринимателей. Нужно, значит, тщательно обдумав выбор, взять с собой достаточное количество разных изделий для обмена их на столь желанные чужеземные товары. Что ж, Магеллану еще с индийских времен знаком наивный вкус детей природы. Он знает — два предмета повсюду производят огромный эффект: зеркало, в котором черный, смуглый или желтый туземец впервые изумленно созерцает собственную физиономию, да еще колокольчики и погремушки, эта извечная ребячья радость. Не менее двадцати тысяч таких маленьких шумовых инструментов везут корабли экспедиции, да еще девятьсот малых и десять больших зеркал (к сожалению, большая часть их будут разбиты в пути), четыреста дюжин немецких ножей (в описи точно отмечено: «400 docenas de cuchilloss de Alemania de los peores» — «ножи из Германии самые дешевые»), пятьдесят дюжин ножниц, затем неизменные и пестрые платки и красные шапки, медные браслеты, поддельные драгоценности и разноцветные бусы. Для особо важных оказий упаковано несколько турецких нарядов и традиционных ярких тряпок, бархатных и шерстяных, в общем — отчаянный хлам, в Испании стоящий так же мало, как пряности на Молуккских островах, но как нельзя лучше отвечающий требованиям торговой сделки, при которой обе стороны платят в десять раз больше цены менового товара и все же обе изрядно наживаются.

Все эти гребешки и шапки, зеркала и погремушки пригодятся, однако, лишь при благоприятных обстоятельствах: если туземцы выкажут готовность заняться мирным обменом. Но предусмотрен и другой, воинственный оборот дела. Пятьдесят восемь пушек, семь длинных фальконетов, три массивные мортиры грозно глядят из люков; недра судов отягощены

множеством железных и каменных ядер, а также бочками со свинцом для отливания пуль, когда запас их иссякнет. Тысячи копий, две сотни пик и две сотни щитов свидетельствуют о решимости постоять за себя; кроме того, больше половины команды снабжено шлемами и нагрудными латами. Для самого адмирала в Бильбао изготовлены два панциря, с головы до ног облекающие его в железо; подобный сверхъестественному неуязвимому существу, предстанет он в этом одеянии перед чужеземцами. Таким образом, хотя в соответствии со своим замыслом и характером Магеллан намерен избегать вооруженных столкновений, его экспедиция снаряжена не менее воинственно, чем экспедиция Фернандо Кортеса, который летом того же 1519 года на другом конце света во главе горсточки воинов завоевал государство с миллионным населением. Для Испании начинается героический год.

Проникновенно, со свойственным ему настороженным, неистощимым терпением Магеллан еще раз — последний раз! — испытывает каждый из пяти кораблей, его оснастку, груз и устойчивость. Теперь пора присмотреться к команде! Нелегко было ее сколотить, немало недель прошло, прежде чем удалось набрать ее по глухим портовым закоулкам и тавернам; оборванных, грязных, недисциплинированных пригнали их на корабли, и сейчас они все еще изъясняются между собой на каком-то диком волапюке: по-испански — один, по-итальянски — другой, по-французски — третий, а также по-португальски, по-гречески и по-немецки. Да, потребуется немало времени, чтобы весь этот сброд превратился в надежную, спаянную команду. Но нескольких недель на борту достаточно, чтобы он прибрал их к рукам. Тот, кто семь лет прослужил простым sobresaliente — матросом и воином, знает, что нужно матросам, что можно с них спрашивать и как с ними следует обращаться. Вопрос о команде не тревожит адмирала.

Зато неприятное, напряженное чувство испытывает он, глядя на трех испанских капитанов, назначенных командирами отдельных судов. Невольно у него пружинятся мышцы, как у борца перед началом состязания, и не удивительно: с каким холодным, надменным видом, с каким плохо, может быть даже нарочито плохо, скрываемым презрением не заме-

чает его этот veedor, королевский надсмотрщик, Хуан де Картахена, которому он вынужден был поручить вместо Фалейру командование «Сан-Антонио». Хуан де Картахена, конечно, опытный, заслуженный моряк, и его личная порядочность так же вне сомнения, как и его честолюбие. Но сумеет ли родовитый кастилец укротить свое честолюбие? Подчинится ли Магеллану, согласно данной им присяге, этот двоюродный брат епископа Бургосского, удостоенный королем ранее пожалованного Фалейру титула conjuncta persona? При виде его Магеллану все время приходят на ум слова, нашептанные Алваришем, что, кроме самого адмирала, еще и другие лица снабжены особыми полномочиями, о которых он узнает, лишь «когда будет уже поздно для спасения чести». Не менее враждебно глядит на Магеллана и командир «Виктории», Луис де Мендоса. Еще в Севилье он однажды дерзко уклонился от повиновения, но Магеллан тогда не посмел уволить этого тайного врага, навязанного ему императором в качестве казначея. Да, видимо, немного значит, что все эти испанские офицеры в соборе Санта Мария де ла Виктория под сенью распростертого знамени принесли ему клятву верности и повиновения; в душе они остались врагами и завистниками. Придется зорко следить за этими родовитыми испанцами.

Хорошо еще, что Магеллану удалось хоть до известной степени обойти королевский указ и злопыхательские возражения Casa de la Contratación и украдкой взять на борт тридцать португальцев, в том числе несколько надежных друзей и близких родственников. Среди них — прежде всего Дуарте Барбоса, шурин Магеллана, несмотря на свою молодость испытанный в дальних плаваниях моряк, затем Альваро де Мескита, также близкий его родственник, и Эстевао Гомес — лучший кормчий Португалии. Среди них и Жуан Серрано, который хоть и значится в судовых списках испанцем и побывал с испанскими экспедициями, возглавлявшимися Писарро и Педро д'Ариасом[68] в Castilia del Oro*, но в качестве родственника названого брата Магеллана Франсишку Серрано все же как-никак приходится ему соотече-

* Золотая Кастилия (*исп.*) — испанские владения на карибском побережье Венесуэлы.

ственником. Немалого стоит и Жуан Карвальо, который уже много лет назад посетил Бразилию и теперь даже везет с собой сына, прижитого там со смуглой бразильянкой. Оба они благодаря знанию языка и местных условий смогут быть отличными проводниками в тех странах; если же экспедиции удастся из Бразилии пробраться в мир малайских языков, на «Острова пряностей» и в Малакку, — ценные услуги в качестве переводчика окажет раб Магеллана Энрике. Итак, среди двухсот шестидесяти пяти спутников Магеллана имеется всего пять — десять человек, на чью преданность он безусловно может положиться. Это немного. Но тот, у кого нет выбора, должен дерзать даже вопреки численности противников и неблагоприятным обстоятельствам.

С сосредоточенным видом, мысленно проверяя каждого человека в отдельности, проходит Магеллан перед выстроившимся экипажем, непрерывно втайне обдумывая и прикидывая, кто в решающую минуту станет за него и кто — против. Он не замечает, что на лбу у него от напряжения залегли складки. Но вот они разгладились, Магеллан невольно улыбается. Бог ты мой, одного-то он чуть не забыл, того сверхсметного, лишнего, кто неожиданно, как снег на голову, объявился в самую последнюю минуту! Право же, чистая случайность, что тихий, скромный, совсем еще юный итальянец Антонио Пигафетта из Виченцы, отпрыск древнего дворянского рода, затесался в эту разношерстную компанию искателей приключений, честолюбцев, охотников до легкой наживы и головорезов. Прибыв в Барселону, ко двору Карла V, в свите папского протонотария, безусый еще кавалер Родосского ордена услышал разговоры о таинственной экспедиции, которая по неисследованным путям двинется в неведомые края и страны. Вероятно, Пигафетта читал напечатанную в его родном городе Виченце в 1507 году книгу Веспуччи «Paesi novamente ritrovati»*, в которой автор повествует о страстном своем желании «di andare e vedere parte del mondo e le sue meraviglie»**. А может, молодого итальянца воодушевил и пользовавшийся широкой известностью

---

* «Вновь открытые недавно страны» (*ит.*).

** Путешествовать и увидеть мир и его чудеса (*ит.*).

«Путеводитель» его соотечественника Лодовико Вартемы. Несказанно прельщает его мысль самому, собственными глазами увидеть хоть что-нибудь из того «великого и страшного, чем изобилуют океаны». Карл V, к которому он обратился за разрешением участвовать в этой таинственной экспедиции, рекомендует его Магеллану — и вот среди профессиональных моряков, охотников до легкой наживы, искателей приключений оказывается чудак-идеалист, идущий навстречу опасности не из честолюбия и не ради денег, а из бескорыстной любви к странствиям; как дилетант в лучшем смысле этого слова, единственно ради своего diletto, ради наслаждения видеть, познавать, восхищаться, готовый отдать жизнь в дерзновенном предприятии.

На деле этот незаметный, лишний человек станет для Магеллана важнейшим участником экспедиции. Ибо какое значение имеет подвиг, если он не запечатлен словом; историческое деяние бывает закончено не в момент его свершения, а лишь тогда, когда становится достоянием потомства. То, что мы называем историей, отнюдь не совокупность всех значительных событий, когда-либо происшедших во времени и пространстве: всемирная история, летопись мира охватывает лишь небольшой участок действительности, который случайно был озарен в поэтическом или научном отображении. Ничем был бы Ахилл без Гомера, тенью оставалась бы любая личность, быстротечной волной растеклось бы любое деяние в безбрежном море событий, если бы оно не превращалось в гранит под пером летописца, если бы художник заново не воссоздавал его в пластических образах. Вот почему мы мало что знали бы о Магеллане и его подвиге, будь в нашем распоряжении только одна «декада» Петра Ангиерского[69], краткое письмо Максимилиана Трансильванского[70] да несколько сухих заметок и лаговые записи кормчих. Лишь этот скромный рыцарь Родосского ордена, сверхштатный и лишний, увековечил для грядущих поколений подвиг Магеллана. Разумеется, наш добрый Пигафетта не был ни Тацитом, ни Ливием. В литературе, как и в мореплавании, он оставался всего только благодушным дилетантом. Знание людей отнюдь не было его коньком, важнейшие психологические конфликты между адмиралом и его капитанами он, видно, просто-напро-

сто проспал на борту. Но именно потому, что Пигафетта мало интересуется причинными связями, он тщательно наблюдает мелочи и отмечает их с живостью и старательностью школьника, описывающего свою воскресную прогулку. На него не всегда можно положиться: иной раз по наивности он верит любому вздору, который ему рассказывают немедленно раскусившие новичка старые кормчие; но все эти мелкие небылицы и ошибки Пигафетта с лихвой возместил любознательной точностью, с которой он описывает каждую мелочь; а тем, что он не поленился, по методу Берлица[71], расспрашивать патагонцев, невзрачный родосский рыцарь нежданно стяжал себе историческую славу автора первого письменного лексикона американских слов. Он удостоился еще большей чести: сам Шекспир использовал в своей «Буре» эпизод из путевых записок Пигафетты. Что может выпасть на долю посредственного писателя более величественного, чем если из преходящего его творения гений заимствует нечто для своего бессмертного и на своих орлиных крыльях возносит его безвестное имя в сферу вечности?

Магеллан закончил свой обход. Со спокойной совестью может он сказать себе: все, что смертный в состоянии рассчитать и предусмотреть, он рассчитал и продумал. Но дерзновенное плавание конквистадора бросает вызов высшим силам, не поддающимся земным расчетам и измерениям. Человек, стремящийся наперед точно определить все возможности успеха, должен считаться и с наиболее вероятным финалом такого странствия: с тем, что он из него не возвратится. Поэтому Магеллан, претворив сначала свою волю в земное дело, за два дня до отплытия письменно излагает и свою последнюю волю.

Это завещание нельзя читать без глубокого волнения. Обычно завещатель знает, хотя бы приблизительно, размеры своего достояния. Но как мог Магеллан прикинуть и оценить, какое он оставит наследство, сколько он оставит? Пока одному только Небу известно, будет ли он через год нищим, или одним из богатейших людей на свете. Ведь все его достояние заключается лишь в договоре с королем. Если задуманное предприятие удастся, если он найдет легендарный paso,

проникнет на Молуккские острова, вывезет оттуда драгоценную кладь, тогда, выехав бедным искателем приключений, он возвратится в Севилью Крезом. Если он откроет в пути новые острова — его сыновьям и внукам в придачу ко всем богатствам достанется еще и наследственный титул наместника, adelantado. Если же расчет окажется неверным, если суда пойдут ко дну — его жене и детям, чтобы не умереть с голоду, придется стоять на церковной паперти с протянутой рукой, моля верующих о подаянии. Исход — во власти вышних сил, тех, что правят ветром и волнами. И Магеллан, как благочестивый католик, заранее смиренно покоряется неисповедимой воле Господней. Раньше, чем к людям и правительству, это глубоко волнующее завещание обращается ко «всемогущему Господу, повелителю нашему, чьей власти нет ни начала, ни конца». Свою последнюю волю Магеллан изъявляет прежде всего как верующий католик, затем — как дворянин и только в самом конце завещания — как супруг и отец.

Но и в дела благочестия человек Магелланова склада никогда не вносит неясности или сумбура. С тем же удивительным искусством все предвидеть обращается он мыслью и к вечной жизни. Все возможности предусмотрены и старательно подразделены. «Когда земное мое существование завершится и начнется для меня жизнь вечная, — пишет он, — я хотел бы быть похороненным в Севилье, в монастыре Санта Мария де ла Виктория, в отдельной могиле». Если же смерть постигнет его в пути и нельзя будет доставить тело на родину, то «пусть праху моему уготовят место последнего успокоения в ближайшем храме Пресвятой Богородицы». Благочестиво и вместе с тем точно распределяет этот набожный христианин суммы, предназначенные на богоугодные дела. Одна десятая часть обеспеченной ему по договору двадцатой доли всех прибылей должна быть разделена поровну между монастырями Санта Мария де ла Виктория, Санта Мария Монсерра и Сан Доминго в Опорто; тысяча мараведисов уделяется севильской часовне, где он причастился перед отплытием и где с помощью Божьей (после благополучного возвращения) надеется причаститься снова. Один реал серебром он завещает на крестовый поход, другой — на выкуп христианских пленников из рук неверных, третий —

дому призрения прокаженных, четвертый и пятый — госпиталю для чумных больных и приюту Святого Себастьяна, дабы те, кто получит эту лепту, «молились Господу Богу за спасение моей души». Тридцать заупокойных обеден должны быть отслужены у его тела и столько же — через тридцать дней после похорон в церкви Санта Мария де ла Виктория. Далее он приказывает ежегодно «в день моего погребения выдавать трем беднякам одежду: каждому из них камзол серого сукна, шапку, рубаху и пару башмаков, дабы они молились за спасение моей души. Я хочу, чтобы в сей день не только троих этих бедняков кормили досыта, но еще и двенадцать других, дабы и они молили Господа за мою душу, а также прошу жертвовать золотой дукат на раздачу милостыни за души, томящиеся в чистилище».

После того как церкви уделена столь значительная доля его наследства, невольно ждешь, что последние распоряжения коснутся наконец жены и детей. Но оказывается, этот глубоко религиозный человек трогательно озабочен судьбой своего невольника Энрике. Может быть, уже и раньше совесть Магеллана тревожил вопрос, вправе ли настоящий христианин считать своей собственностью, наравне с земельным участком или камзолом, человека, да к тому же еще принявшего крещение и тем самым ставшего ему братом по вере, существом с бессмертной душой? Так или иначе, но Магеллан не хочет предстать перед Господом Богом с этим сомнением в душе, поэтому он отдает распоряжение: «Со дня моей смерти пленник мой и невольник Энрике, уроженец города Малакки, двадцати шести лет от роду, освобождается от рабства или подчинения и волен поступать и действовать, как ему заблагорассудится. Далее я хочу, чтобы из моего наследства десять тысяч мараведисов были выданы ему во вспомоществование. Эту сумму я назначаю ему потому, что он стал христианином и будет молиться Богу за спасение моей души».

Только теперь, отдав дань заботам о загробной жизни и предуказав «добрые дела, которые даже за величайшего грешника явятся заступниками на Страшном суде», Магеллан в своем завещании обращается к семье. Но и здесь заботам о житейских делах предшествуют распоряжения, касающиеся нематериальных вопросов, — сохранения его герба

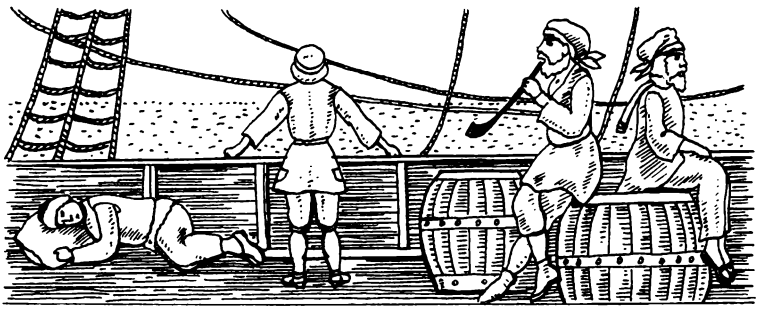
и дворянского звания. Вплоть до второго и третьего поколения указывает Магеллан, кому быть носителем его герба, его armas, на тот случай, если его сын не переживет отца (вещее предчувствие). Он стремится к бессмертию не только как христианин, но и как дворянин.

Лишь после этих заветов Магеллан переходит к распределению своего, пока еще носимого ветрами по волнам, наследства между женой и детьми; адмирал подписывает этот документ твердым, крупным, таким же прямым, как и он сам, почерком: Fernando de Magellanes (Фернандо де Магелланес). Но судьбу не подчинить себе росчерком пера, не умилостивить обетами, властная ее воля сильнее самого горячего желания человека. Ни одно из сделанных Магелланом распоряжений не будет выполнено: ничтожным клочком бумаги останется его последняя воля. Те, кого он назначил наследниками, ничего не унаследуют; нищие, которых он заботливо оделил, не получат подаяния; тело его не будет покоиться там, где он просил его похоронить; его герб исчезнет. Только подвиг, им совершенный, переживет отважного мореплавателя, только человечество возблагодарит его за оставленное наследие.

Последний долг на родине выполнен. Наступает прощание. Трепеща от волнения, стоит перед ним женщина, с которой он в течение полутора лет был впервые в жизни по-настоящему счастлив. На руках она держит рожденного ему сына. Рыдания сотрясают ее вторично отяжелевшее тело. Еще один, последний раз он обнимает ее, крепко жмет руку Барбосе — единственного его сына он увлекает за собой в неведомую даль. Затем скорее, чтобы от слез покинутой жены не дрогнуло сердце, в лодку и вниз по течению, к Сан-Лукару, где его ждет флотилия. Еще раз в скромной Сан-Лукарской церкви Магеллан, предварительно исповедавшись, вместе со своей командой принимает причастие. На рассвете, во вторник 20 сентября 1519 года — эта дата войдет в мировую историю — с грохотом поднимаются якоря, паруса надуваются ветром, гремят орудийные выстрелы — прощальный привет исчезающей земле; началось великое странствие, дерзновеннейшее плавание во всей истории человечества.

Тщетные поиски

20 сентября 1519 года — 1 апреля 1520 года



Двадцатого сентября 1519 года флотилия Магеллана отчалила от материка. Но в те годы владения Испании уже простираются далеко за пределы Европы; когда, через шесть дней после отплытия, пять судов флотилии заходят в Тенерифе на Канарских островах, чтобы пополнить запас воды и продовольствия, они все еще находятся в пределах, подвластных императору Карлу V. Еще один-единственный раз, перед тем как продолжать путь в неизвестность, дано отважным мореплавателям ступить на милую им твердую почву родины, еще раз вдохнуть ее воздух, услышать родную речь.

Но вскоре и этот последний роздых приходит к концу. Магеллан уже собирается ставить паруса, как вдруг, издали еще подавая судам знаки, появляется испанская каравелла, несущая секретное послание Магеллану от его тестя, Дьего Барбосы. Тайная весть — обычно дурная весть. Барбоса предупреждает зятя: из достоверных источников ему удалось узнать о тайном сговоре испанских капитанов — в пути нарушить долг повиновения Магеллану. Глава заговора — Хуан де Картахена, двоюродный брат епископа Бургосского. У Магеллана нет оснований сомневаться в правдивости и правильности этого предостережения; слишком точно сов-

падает оно с туманной угрозой шпиона Алвариша: «...другие люди, сверх того, снабжены контринструкциями, а узнает он о них, только когда уже будет поздно для спасения чести». Но жребий брошен, и лишь еще тверже становится решимость Магеллана перед лицом очевидной опасности. Он шлет в Севилью гордый ответ: что бы ни случилось, он неукоснительно будет служить императору, и залог тому — его жизнь. Ни словом не обмолвившись о том, сколь мрачное и в то же время правдивое, слишком правдивое предостережение принесло ему это письмо — последнее в его жизни, он велит выбрать якоря, и через несколько часов очертания тенерифского пика уже расплываются вдали. Большинство моряков в последний раз видят родную землю.

Труднейшая для Магеллана задача среди всех трудностей этого плавания состоит в том, чтобы сплоченным строем вести все суда экспедиции, столь различные по водоизмещению и быстроходности: стоит только одному из них отбиться, и в бескрайном бездорожном океане оно потеряно для флотилии. Еще до отплытия Магеллан, с ведома и согласия Casa de la Contratación, выработал для поддержания постоянной связи между судами особую систему. Правда, contramaestres — капитанам судов и кормчим известна derota — общий курс, но в открытом море для них действует только одно предписание: идти в кильватере «Тринидада» — ведущего флагманского судна. В дневные часы соблюдение этого приказа вполне посильно, даже во время сильного шторма корабли могут не терять друг друга из виду; гораздо труднее поддерживать непрерывную связь между всеми пятью судами ночью — для этой цели изобретена и тщательно продумана система световой сигнализации. С наступлением темноты на корме «Тринидада» зажигается вставленный в фонарь (farol) смоляной факел (faro), чтобы идущие вслед корабли не теряли из виду флагманское судно, capitána. Если же на «Тринидаде», кроме смоляного факела, загораются еще два огня, это означает, что остальным судам следует убавить ход или же лавировать из-за неблагоприятного ветра. Три огня возвещают, что надвигается шквал и поэтому надлежит подтянуть лисель, при четырех огнях нужно убирать все паруса. Многочисленные то вспыхивающие, то гаснущие огни

на флагманском судне или же пушечные выстрелы предупреждают, что надо опасаться отмелей или рифов. Итак, для всех возможных счастливых и несчастных случаев разработан язык ночных сигналов.

И на каждый сигнал этого примитивного светового телеграфа каждый корабль обязан каждый раз немедленно отвечать таким же сигналом, дабы адмиралу было известно, что его приказания поняты и выполнены. Кроме того, ежевечерне, незадолго до наступления темноты, каждый из четырех кораблей должен приблизиться к флагманскому судну, приветствуя адмирала словами: «Dios vos salve, señor capitán general, y maestre, y buena compania»*, и выслушать его приказы на время трех ночных вахт. Казалось бы, что этот ежедневный рапорт всех четырех капитанов адмиралу с первого же дня устанавливает определенную дисциплину: флагманское судно ведет флотилию, а остальные следуют за ним, адмирал указывает курс, а капитаны беспрекословно его придерживаются.

Но именно то, что руководство так безоговорочно и решительно сосредоточено в руках одного человека, как и то, что этот молчаливый, ревниво хранящий свои тайны португалец каждый день, словно новобранцев, заставляет их выстраиваться перед ним и после отдачи приказаний немедленно отсылает, как простых подручных, раздражает капитанов остальных судов. Без сомнения и, надо признать, с некоторым на то правом они полагали, что Магеллан с таким мелочным упорством замалчивал в Испании подлинную цель экспедиции потому, что боялся выдать тайну paso болтунам и шпионам; но в открытом море, надо думать, он наконец откажется от этой осторожности, призовет их на борт флагманского корабля и с помощью своей карты изложит им дотоле ревниво охранявшийся замысел. Вместо этого они видят, что Магеллан становится еще более молчаливым, все более сдержанным и недоступным. Он не призывает их к себе на корабль, не справляется об их мнении, ни разу не спрашивает совета ни у кого из этих испытанных моряков. Они

---

* Да хранит Господь вас, сеньор капитан-генерал, и кормчих, и всю добрую команду (*исп.*).

обязаны следовать днем за флагом, ночью за факелом тупо и покорно, как собака за хозяином. В продолжение нескольких дней испанские офицеры терпеливо сносят молчаливую непреклонность, с которой Магеллан ведет их за собой. Но когда адмирал, вместо того чтобы, держа курс на юго-запад, прямиком плыть к Бразилии, забирает много южнее, уклоняясь от первоначально обусловленного курса, и до самой Сьерра-Леоне следует вдоль берегов Африки, Хуан де Картахена во время вечернего рапорта в упор спрашивает его, почему, вопреки данным вначале инструкциям, изменен курс.

Этот в упор поставленный Хуаном де Картахеной вопрос отнюдь не является дерзостью с его стороны (и это нужно особо подчеркнуть, так как большинство авторов, чтобы возвысить Магеллана, изображают Хуана де Картахену черным предателем). А между тем нельзя не признать логичным и справедливым, если человек, назначенный королем conjuncta persona, если капитан самого большого судна флотилии учтиво спрашивает адмирала, почему, собственно, изменен ранее установленный курс. Кроме того, вопрос Хуана де Картахены законен и с навигационной точки зрения, ибо этот новый курс поведет флотилию окольным путем и заставит ее потерять не менее двух недель. Что принудило Магеллана изменить маршрут, мы не знаем. Быть может, так далеко, до самой Гвинеи, он следовал вдоль побережья Африки потому, что намеревался там — этой технической тайны португальского мореходства испанцы не знали — tomar barlavento, словить попутный пассат, а может быть, он отклонился от обычного пути, желая избегнуть встречи с португальскими судами, по слухам посланными королем Мануэлем в Бразилию перехватить эскадру Магеллана. Так или иначе, адмиралу ничего не стоило честно, по-товарищески изложить капитанам причины, заставившие его переменить курс. Но для него важен не этот частный случай, а самый принцип. Дело не в двух-трех милях отклонения к юго-западу или юго-юго-западу, а в том, чтобы раз навсегда установить жесткую дисциплину. Если на борту в самом деле имеются заговорщики, как сообщил ему тесть, то он предпочитает сразу столкнуться с ними лицом к лицу. Если действительно существуют двусмысленные инструк-

ции, скрываемые от него, то они должны получить единое толкование в пользу его авторитета. Вот почему Магеллану как нельзя более на руку, что объяснений от него домогается именно Хуан де Картахена, ибо теперь должно выясниться, приравнен ли к нему или же подчинен ему этот испанский идальго. Этот вопрос служебной иерархии и вправду не так-то ясен. Вначале Хуан де Картахена был послан сопровождать флотилию в качестве veedor general — главного контролера, а в этом звании, как и в должности капитана «Сан-Антонио», он всецело подчинен адмиралу, без права совещательного голоса, без права требовать объяснений. Но положение изменилось, когда Магеллан отстранил своего компаньона Фалейру и Хуан де Картахена получил вместо него назначение на пост conjuncta persona, а conjuncta означает «равноправный». Каждый из них теперь вправе ссылаться на королевскую грамоту. Магеллан — на «договор», по смыслу которого он является верховным и единственным начальником флотилии, Хуан де Картахена на — на «дополнительный акт», вменяющий ему в обязанность иметь неусыпное наблюдение в случаях, если им будут обнаружены какие-либо упущения, а другие лица не выкажут должной прозорливости и осмотрительности. Но имеет ли право conjuncta persona требовать отчета от самого адмирала? Этот вопрос Магеллан не намерен ни на мгновение оставить невыясненным. И поэтому на первый же вопрос Хуана де Картахены он резко отвечает, что «все обязаны следовать за ним и никто не вправе спрашивать у него отчета» (que le siguisen y no le pidiesen más cuenta).

Это грубо, но Магеллан считает, что лучше сразу обрушиться на противника, чем расточать угрозы или искать примирения. Этими словами он прямо в лоб заявляет испанским капитанам (а быть может, и заговорщикам): «Не обольщайтесь, я один буду держать руль, и железной рукой». Но хотя кулак у Магеллана крепкий, увесистый, беспощадный, его руке не хватает многих ценных качеств, и прежде всего умения, когда нужно, приласкать тех, с кем она слишком круто расправилась. Магеллан никогда не постиг искусства с любезной миной говорить неприятные вещи, просто и дружелюбно обходиться как с начальниками, так и с под-

чиненными. Поэтому вокруг этого человека — конденсатора величайшей энергии — с самого начала неминуемо должна была установиться напряженная, враждебная, озлобленная атмосфера. Это скрытое раздражение неизбежно нарастало, по мере того как выяснялось, что перемена курса, против которой возражал Хуан де Картахена, действительно была явной ошибкой Магеллана. Ветер поймать не удалось, суда на две недели застряли в открытом море, среди полного штиля. Затем они скоро попадают в полосу столь сильных бурь, что, по романтическому описанию Пигафетты, их спасает только появление светящихся Cuerpos Santes — «святых тел», покровителей моряков — святого Эльма, святого Николая и святого Клэра (так называемые «огни святого Эльма»). Две недели потеряны из-за своевольного распоряжения Магеллана, и наконец Хуан де Картахена уже не может и не хочет больше сдерживаться. Раз Магеллан пренебрегает советом, раз он не терпит критики — так пусть же вся флотилия узнает, как мало он, Хуан де Картахена, чтит этого бездарного морехода. Правда, корабль Хуана де Картахены «Сан-Антонио» и в тот вечер, как всегда, послушно приближается к «Тринидаду» отдать рапорт и принять от Магеллана очередные приказания. Но Картахена впервые не выходит на палубу, чтобы произнести установленное приветствие. Вместо себя он посылает боцмана, и тот обращается к адмиралу со словами: «Dios vos salve, señor capitán general, y maestre». Магеллан ни на минуту не обманывает себя мыслью, что это изменение текста приветствия могло быть случайной, невольной обмолвкой. Если именно Хуан де Картахена велит титуловать его не адмиралом (capitán general), а просто капитаном (capitán), то этим всей флотилии дается понять, что conjuncta persona Хуан де Картахена не признает его своим начальником. Он немедленно велит передать Хуану, что впредь надеется быть приветствуемым достойным и подобающим образом. Но теперь и Хуан подымает забрало. Он шлет высокомерный ответ: он сожалеет, что на этот раз он еще поручил своему ближайшему помощнику произнести приветствие; в следующий раз это может сделать любой юнга. Три дня подряд «Сан-Антонио» на глазах у всей флотилии не соблюдает церемонии приветствия

и рапорта, дабы показать всем остальным, что его капитан не признает неограниченной диктатуры португальского командира. Совершенно открыто — и это делает честь Хуану де Картахене, никогда (сколько бы ни утверждали противное) не действовавшему вероломно, — испанский идальго бросает железную перчатку к ногам португальца.

Характер человека лучше всего познается по его поведению в решительные минуты. Только опасность выявляет скрытые силы и способности человека; все эти потаенные свойства, при средней температуре лежащие ниже уровня измеримости, обретают пластическую форму лишь в подобные критические мгновения. Магеллан всегда одинаково реагирует на опасность. Каждый раз, когда дело касается важных решений, он становится устрашающе молчаливым и неприступным. Он словно застывает. Какое бы тяжкое оскорбление ему ни было нанесено, его затененные кустистыми бровями глаза не загорятся огнем, ни одна складка не дрогнет вокруг плотно сжатых губ. Он в совершенстве владеет собой, и благодаря этому ледяному спокойствию все вещи становятся для него прозрачными, как хрусталь; замуровавшись в ледяное молчание, он лучше всего продумывает и рассчитывает свои планы. Никогда в жизни Магеллан не нанес удара необдуманно, сгоряча: прежде чем сверкнет молния, грозовой тучей нависает долгое, гнетущее, мрачное молчание. И на этот раз Магеллан молчит; тем, кто его не знает — а испанцы еще не знают его, — может показаться, что он оставил брошенный Хуаном де Картахеной вызов без внимания. На деле Магеллан уже вооружается для контратаки. Он понимает, что нельзя в открытом море насильственно сместить капитана корабля, более крупного, чем флагманский, и лучше вооруженного. Итак, терпение, терпение: лучше притвориться тупым, равнодушным. И Магеллан в ответ на оскорбление молчит так, как он один умеет молчать: с одержимостью фанатика, с упорством крестьянина, со страстностью игрока. Все вокруг видят, как он спокойно расхаживает по палубе «Тринидада», внешне всецело поглощенный будничными, ничтожными мелочами корабельной жизни. То, что «Сан-Антонио» перестал соблюдать приказ о вечер-

нем рапорте, словно и не раздражает его, и капитаны с некоторым удивлением замечают, что этот загадочный человек начинает держать себя более доступно: по поводу совершенного одним из матросов тяжкого преступления против нравственности адмирал впервые приглашает к себе на совещание всех четырех капитанов. Значит, думают они, его все же стали тяготить неприязненные отношения с сотоварищами. Видно, после того, как избранный им курс оказался ошибочным, он понял, что лучше спрашивать совета у старых, опытных капитанов, чем почитать их quantité négligeable*. Хуан де Картахена тоже является на борт флагманского судна и, воспользовавшись долго не представлявшейся ему возможностью вести с Магелланом деловую беседу, снова спрашивает, почему, собственно, изменен курс. Сообразно своему характеру и тщательно продуманному намерению Магеллан сохраняет полную невозмутимость: ему только на руку, если его спокойствие сильнее распалит Картахену. А последний, считая, что звание верховного королевского чиновника дает ему право критиковать действия Магеллана, по-видимому, изрядно воспользовался этим правом. Дело, вероятно, кончилось бурной вспышкой, чем-то вроде резкого отказа повиноваться. Но превосходный психолог Магеллан именно такую вспышку открытого неподчинения заранее предусмотрел, это ему и нужно. Теперь он может действовать. Он немедленно применяет предоставленное ему Карлом V право вершить правосудие. Со словами: «Sed preso» («Вы — мой пленник») — он хватает Хуана де Картахену за грудь и велит своему альгвасилу (каптенармусу и полицейскому офицеру) заключить мятежника под стражу.

Остальные капитаны растерянно переглядываются. Несколькими минутами раньше они всецело были на стороне Хуана де Картахены, да и сейчас еще в душе стоят за своего соотечественника и против начальника-чужестранца. Но внезапность нанесенного удара, демоническая энергия, с которой Магеллан схватил своего врага и велел посадить его под арест как преступника, парализовали их волю. Напрасно Хуан зовет их на помощь. Никто не смеет тронуться с места,

---

* Величиной, которой можно пренебречь (*фр.*).

никто не дерзает даже поднять глаза на низкорослого, коренастого человека, впервые позволившего своей пугающей энергии прорваться сквозь глухую стену молчания. Только когда Хуана уже хотят отвести в каземат, один из них обращается к Магеллану и почтительнейше просит, во внимание к высокому происхождению Картахены, не заключать его в оковы; достаточно, если кто-нибудь из них обязуется честным словом быть его стражем. Магеллан принимает это предложение под условием, что Луис де Мендоса, кому он поручает надзор за Хуаном, клятвенно обяжется по первому же требованию представить его адмиралу. С этим делом покончено. По прошествии часа на «Сан-Антонио» уже распоряжается другой испанский офицер — Антонио де Кока; вечером он со своего корабля четко, без единого упущения, приветствует адмирала. Плавание продолжается без каких-либо инцидентов. 29 ноября возглас с марса возвещает, что виден берег Бразилии; они различают его очертания близ Пернамбуко и, нигде не бросая якорей, продолжают свой путь; наконец 13 декабря пять судов флотилии, после одиннадцатинедельного плавания, входят в залив Рио-де-Жанейро.

Залив Рио-де-Жанейро, в те далекие времена, вероятно, не менее прекрасный в своей идиллической живописности, чем ныне в своем городском великолепии, должен был показаться усталому экипажу настоящим раем. Нареченный Рио-де-Жанейро по имени святого Януария, в день которого он был открыт, и ошибочно названный Рио*, ибо предполагалось, что за бесчисленными островами кроется устье многоводной реки, этот залив тогда уже находился в сфере владычества Португалии. Согласно инструкции, Магеллану не следовало становиться там на причал. Но португальцы еще не основали здесь поселений, не воздвигли вооруженной пушками крепости; блистающий яркими красками залив — в сущности, все еще «ничья земля»; испанские суда могут безбоязненно пройти среди волшебно прекрасных островков, окаймляющих берег, одетый яркой зеленью, и без помехи бросить здесь якоря. Как только их шлюпки приближаются к берегу, навстречу из хижин и лесов выбегают туземцы

* Река (*исп.*).

и с любопытством, но без недоверия встречают закованных в латы воинов. Они вполне добродушны и приветливы, хотя позднее Пигафетта не без огорчения узнает, что это завзятые людоеды, которым частенько случается накалывать убитых врагов на вертел и затем разрезать на куски это лакомое жаркое, словно мясо откормленного быка. Но богоподобные белые пришельцы не вызывают у гуарани[72] таких вожделений, и солдаты избавлены от необходимости пускать в ход громоздкие мушкеты и увесистые копья.

Несколько часов спустя завязывается оживленная меновая торговля. Теперь Пигафетта в своей стихии. Одиннадцатинедельное плавание дало честолюбивому летописцу мало сюжетов: ему удалось сплести разве что несколько побасенок об акулах и диковинных птицах. Арест Хуана де Картахены он, судя по всему, проспал, но зато сейчас ему едва хватает взятого с собой запаса перьев, чтобы перечислять в дневнике все чудеса Нового Света. Правда, он не дает нам представления о прекрасном ландшафте, но этого нельзя поставить ему в вину — ведь только тремя веками позже описания природы были введены в обиход Жан-Жаком Руссо; зато его необычайно занимают ранее не известные ему плоды — ананасы, «похожие на большие круглые еловые шишки, но чрезвычайно сладкие и отменно вкусные», далее бататы — их вкус напоминает ему каштаны — и «сладкий» (то есть сахарный) тростник. Добрый малый не может прийти в себя от восхищения, так невероятно дешево эти люди продают чужестранцам съестные припасы. За одну удочку темнокожие дурни дают пять или шесть кур, за гребенку — двух гусей, за маленькое зеркальце — десяток изумительно пестрых попугаев, за ножницы — столько рыбы, что ею могут насытиться двенадцать человек. За одну-единственную погремушку (напомним, что на судах их имелось не менее двадцати тысяч штук) они приносят ему тяжелую, доверху наполненную бататами корзину, за истрепанного короля из старой колоды — пять кур; при этом гуарани еще воображают, что надули неопытного родосского рыцаря. Дешево ценятся и девушки, о которых Пигафетта стыдливо пишет: «Единственное их одеяние — длинные волосы; за топор или нож можно получить сразу двух-трех в пожизненное пользование».

Покуда Пигафетта подвизается в области репортажа, а матросы коротают время, деля его между едой, рыбной ловлей и покладистыми смуглыми девушками, Магеллан думает только о дальнейшем плавании. Разумеется, он доволен, что команда отдыхает и собирается с силами, но в то же время он поддерживает строгую дисциплину. Памятуя данные им испанскому королю обязательства, он запрещает покупку невольников на побережье Бразилии, а также какие бы то ни было насильственные действия, чтобы у португальцев не возникло предлогов для жалоб.

Это лояльное поведение приносит Магеллану еще одну важную выгоду. Убедившись, что белые люди не собираются причинять им ни малейшего зла, туземцы утрачивают былую робость. Этот добродушный, ребячливый народец толпами стекается на берег всякий раз, когда там торжественно отправляют богослужение. С любопытством следят они за непонятными обрядами и, видя, что белые пришельцы, с появлением которых они связывают то, что наконец выпал долгожданный дождь, преклоняют колени перед воздетым крестом, в свою очередь, молитвенно сложив руки, опускаются на колени, а благочестивые испанцы принимают это за явный признак неосознанного проникновения таинств христианской религии в души туземцев.

Когда после тридцатидневной стоянки флотилия в конце декабря покидает незабываемую, широко раскинувшуюся бухту, Магеллан может продолжать плавание с более спокойной совестью, чем другие конквистадоры его времени. Ибо если он и не завоевал здесь новых земель для своего государя, то, как добрый христианин, приумножил число подданных небесного владыки. Никому за эти дни не было причинено ни малейшей обиды, никто из доверчивых туземцев не был насильственно отторгнут от семьи и родины. С миром пришел сюда Магеллан, с миром ушел отсюда.

Неохотно покинули матросы райский залив Рио-де-Жанейро, неохотно плывут они, нигде не причаливая, вдоль манящих берегов Бразилии. Но Магеллан не может позволить им отдыхать дольше. Тайное, жгучее нетерпение влечет этого внешне столь невозмутимого человека вперед, к вожделенному paso, который, согласно карте Мартина

Бехайма и сообщению «Newen Zeytung», он предполагает найти в точно определенном месте. Если сообщения португальских кормчих и нанесенные Бехаймом на карту широты правильны, пролив должен открыться им непосредственно за мысом Санта-Мария. Поэтому Магеллан безостановочно стремится к своей цели. Наконец 10 января мореплаватели среди беспредельной равнины видят невысокий холм, который они нарекают Монтевиди (нынешнее Монтевидео), и спасаются от жестокого урагана в необъятном заливе, невидимом, бесконечно тянущемся к западу.

Этот необъятный залив в действительности не что иное, как устье реки Ла-Платы. Но Магеллан об этом не подозревает. Он только с глубоким, едва скрываемым удовлетворением видит на том самом месте, которое было указано в секретных документах, могучие волны, катящиеся на запад. Должно быть, это и есть вожделенный пролив, виденный им на Бехаймовой карте. Местоположение и широта как будто вполне совпадают со сведениями, полученными Магелланом от неизвестных лиссабонцев; несомненно, это тот самый пролив, через который, согласно сообщению «Newen Zeytung», уже двадцать лет назад португальцы намеревались проникнуть на запад. Пигафетта утверждает, будто все, кто находился на борту, увидев этот величавый водный путь, были твердо убеждены, что им наконец открылся вожделенный пролив. Ведь в противоположность дремотным устьям Рейна, По, Эбро, Тежу, где всегда и справа и слева можно ясно различить берег, здесь ширина могучего потока необозрима. Этот залив, без сомнения, представляет собой начало некоего второго Гибралтара, или Ла-Манша, или Геллеспонта, который связывает океан с океаном. И, безусловно доверяя своему вождю, моряки уже мечтают в несколько дней пройти этот новый пролив и достигнуть другого, Южного моря, легендарного Mar del Sur, ведущего в Индию, Японию, Китай, ведущего на «Острова пряностей», туда, туда — к сокровищам Голконды и всем богатствам Земли.

Упорство, с которым Магеллан в этом, именно в этом месте искал paso, свидетельствует о том, что и он, увидев необъятно широкий водный путь, всецело проникся убеждением: заветный пролив найден. Целых две недели проводит,

или, вернее, теряет, он в устье Ла-Платы, предаваясь тщетным поискам. Едва только буря, свирепствовавшая в момент их прибытия, немного стихает, он делит флотилию на две части. Менее крупные суда посылаются им по мнимому проливу на запад (на деле же вверх по течению). Одновременно два больших корабля под личным его водительством, держа курс поперек устья Ла-Платы, направляются к югу, para ver si habia pasage, чтобы и в этом направлении обследовать, как далеко ведет давно разыскиваемый им путь. Неторопливо, тщательно измеряет он южную окружность залива, покуда меньшие суда плывут на запад. И какое горькое разочарование: после двух недель взволнованного кружения у Монтевиди вдали наконец показываются паруса возвращающихся кораблей. Но вымпелы не развеваются победно на мачтах, и капитаны приносят убийственную весть: исполинская водная ширь, опрометчиво принятая ими за желанный пролив, — всего только необычайно широкая пресноводная река, которую, в память Хуана де Солиса, тоже разыскивавшего здесь путь в Малакку и нашедшего смерть, они на первых порах нарекают Рио-де-Солис (лишь позднее ее переименуют в Рио-де-Ла-Плата).

Теперь Магеллану нужно предельно напрячь все силы. Никто из капитанов, никто из команды не должен заметить, сколь грозный удар нанесло это разочарование его безусловной уверенности. Ибо одно адмирал знает уже сейчас: карта Мартина Бехайма неправильна, сообщение португальских кормчих о якобы открытом ими paso — опрометчивый вывод. Обманчивы были донесения, на которых он построил весь свой план кругосветного плавания, ошибочны все расчеты Фалейру, ложны его, Магеллана, собственные утверждения, ложно все то, что он обещал королю Испании и его советникам. Если этот пролив вообще существует — впервые приходит на ум прежде не знавшему сомнений Магеллану это «если вообще», — то он должен быть расположен южнее. Но взять курс на юг — не значит плыть в теплые края, а, напротив, поскольку флотилия уже давно пересекла экватор, — снова приближаться к полярной зоне. Февраль и март по ту сторону экватора не являются, как в родных широтах, концом зимы, а, наоборот, ее началом. Итак, если в ближайшее время не

сыщется путь в южные моря, не откроется тщетно разыскиваемый здесь paso — время года, благоприятное для того, чтобы обогнуть Южную Америку, будет упущено, и тогда останутся только две возможности: либо вернуться в более теплые края, либо перезимовать где-нибудь в этих местах.

Тревожны, наверно, были мысли, томившие Магеллана с той самой минуты, как посланные на разведку суда вернулись с недоброй вестью.

Подобно духовному его миру, омрачается вокруг и мир внешний. Все неприветливее, все пустыннее и угрюмее становятся берега, все больше хмурится небо; померкло сияние южного солнца, тяжелые, темные тучи заволокли синий небосвод.

Нет больше тропических лесов, чей густой, приторный аромат веял навстречу судам с далекого берега. Исчез навсегда живописный ландшафт Бразилии, могучие, отягощенные плодами деревья, пышные пальмы, диковинные животные, приветливые смуглые туземцы. В этих краях по голому песчаному берегу расхаживают одни только пингвины, пугливо, вразвалку удирающие при приближении людей, да на скалах нелепо и лениво ворочаются тюлени. Кажется, что и люди и звери вымерли в этой гнетущей пустыне. Один-единственный раз какие-то огромные туземцы, с головы до ног, подобно эскимосам, закутанные в звериные шкуры, завидев флотилию, в смятении укрылись за прибрежные скалы. Ни погремушками, ни пестрыми шапками, которыми им машут с кораблей, приманить их не удается. Они неприветливы и сразу же убегают, едва к ним пытаются приблизиться; напрасными были и все попытки найти следы их жилищ.

Все труднее, все медленнее становится плавание. Магеллан неуклонно движется вдоль берегов. Он обследует каждую, даже самую малую, бухту и везде производит промеры глубины. Правда, таинственной карте, заманившей его в плавание и затем в пути его предавшей, он давно уже перестал верить. Но может быть, может быть, все-таки совершится чудо — вдруг там, где никто этого не ждет, глазам откроется paso, и они еще до начала зимы смогут проникнуть в Mar del Sur, в Южное море. Ясно чувствуется, как потерявший уверенность Магеллан цепляется за эту един-

ственную, последнюю надежду: может быть, и карта, и португальские кормчие ошиблись только в определении широты и вожделенный пролив расположен на несколько миль ниже места, указанного в их лживых сообщениях. Когда 24 февраля флотилия снова приближается к какому-то необъятно широкому заливу, к бухте Сан-Матиас, эта надежда, словно колеблемая ветром свеча, разгорается вновь. Без промедления Магеллан опять посылает вперед небольшие суда, дабы установить, не откроется ли здесь свободный проход к Молуккским островам — viendo si habia alguna salida para el Maluco. Но опять — ничего! Опять только закрытая бухта. Так же тщетно обследуют они и два других залива — Bahia de los Patos*, названный так из-за обилия в нем пингвинов, и Bahia de los Trabajos** (это название дано в память о страшных мытарствах, пережитых высадившимися там моряками). Но только туши убитых тюленей приносят оттуда полузамерзшие люди — желанной вести нет и в помине.

Дальше, дальше плывут суда вдоль берега, под мглистым небом. Все грозней становится пустыня, все короче дни, все длиннее ночи. Суда уже не скользят по синим волнам, подгоняемые попутным бризом; теперь ледяные штормы яростно треплют паруса, снег и град белой крупой осыпают их, грозно вздымаются седые валы. Два месяца потребовалось флотилии, чтобы отвоевать у враждебной стихии небольшое расстояние от устья Ла-Платы до залива Сан-Хулиан. Почти каждый день команде приходится бороться с ураганами, с пресловутыми pamperos этих краев — грозными порывами ветра, расщепляющими мачты и срывающими паруса; день ото дня холоднее и сумрачнее становится все кругом, а paso по-прежнему не показывается. Жестоко мстят теперь за себя потерянные недели. Пока флотилия обследовала все закоулки и бухты, зимний холод опередил ее: теперь он встал перед ней, самый лютый, самый опасный из всех врагов, и штормами преградил ей путь. Полгода ушло понапрасну, а Магеллан не ближе к заветной цели, чем в день, когда покинул Севилью.

---

* Залив уток (*исп.*).

** Залив великих трудов (*исп.*).

Мало-помалу команда начинает проявлять нескрываемое беспокойство: инстинкт подсказывает им, что здесь что-то неладно. Разве не уверяли их в Севилье, при вербовке, что флотилия направится к Молуккским островам, на лучезарный юг, в райские земли? Разве невольник Энрике не описывал им свою родину как страну блаженной неги, где люди голыми руками подбирают рассыпанные на земле драгоценные пряности? Разве не сулили им богатство и скорое возвращение? Вместо этого — мрачный молчальник ведет их по все более холодным и скудным пустыням. Излучая слабый, зыбкий свет, проглядывает иногда сквозь тучи желтое чахлое солнце, но обычно небо сплошь закрыто облаками, воздух насыщен снегом; ветер морозным прикосновением до боли обжигает щеки, насквозь пронизывает изорванную одежду; руки моряков коченеют, когда они пытаются ухватить обледенелые канаты; дыхание белым облачком клубится у рта. И какая пустота вокруг, какое зловещее уныние! Даже людоедов прогнал холод из этих мест. На берегах нет ни зверей, ни растения — одни тюлени да раковины. В этих краях живые существа охотнее ютятся в ледяной воде, чем на исхлестанном бурями, унылом побережье. Куда завлек их этот бесноватый португалец? Куда он гонит их дальше? Уж не хочет ли он привести их в землю вечных льдов или к антарктическому полюсу?

Тщетно пытается Магеллан унять громкий ропот. «Стоит ли бояться такого пустячного холода? — уговаривает он их. — Стоит ли из-за этого утрачивать твердость духа? Ведь берега Исландии и Норвегии лежат в еще более высоких широтах, а между тем весною плавать в этих водах не труднее, чем в испанских: нужно еще продержаться всего лишь несколько дней. В крайности можно будет перезимовать и продолжать путь уже при более благоприятной погоде». Но команда не дает успокоить себя пустыми словами. Нет, какие тут сравнения! Не может быть, чтобы их король предусматривал плавание в эти ледовые края, а если адмирал болтает про Норвегию и Исландию, то там ведь дело обстоит совсем иначе. Там люди с малолетства привыкли к стуже, а кроме того, они не удаляются больше чем на неделю, на две недели пути от родных мест. А их завлекли в пустыню, куда еще не ступала

нога христианина, где не живут даже язычники и людоеды, даже медведи и волки. Что им тут делать? К чему было выбирать этот окольный путь, когда другой, ост-индский, ведет прямо к «Островам пряностей», минуя эти ледяные просторы, эти губительные края? Вот что громко и не таясь отвечает команда на уговоры адмирала. А среди своих, под сенью кубрика, матросы, несомненно, ропщут еще сильнее. Снова оживает старое, еще в Севилье шепотом передававшееся из уст в уста подозрение: не ведет ли проклятый португалец tratto doble — двойную игру? Не замыслил ли он, с целью снова войти в милость у португальского короля, злодейски погубить пять хороших испанских судов вместе со всем экипажем?

С тайным удовлетворением следят капитаны-испанцы за нарастающим озлоблением команды. Сами они в это дело не вмешиваются, они избегают разговоров с Магелланом и только становятся все более молчаливыми и сдержанными. Но их молчание опаснее многоречивого недовольства команды. Они больше смыслят в навигационном деле, и от них не может укрыться, что Магеллан введен в заблуждение неправильными картами и уже давно не уверен в своей «тайне». Ведь если б этот человек действительно в точности знал, на каком градусе долготы и широты расположен пресловутый paso, чего ради заставил бы он в таком случае суда целые две недели напрасно плыть по Рио-де-Ла-Плата? Зачем он теперь вновь и вновь теряет драгоценное время на обследование каждой маленькой бухты? Либо Магеллан обманул короля, либо он сам себя обманывает, утверждая, что ему известно местонахождение paso, ибо теперь уже ясно: он только ищет путь, он его еще не знает. С плохо скрываемым злорадством наблюдают они, как у каждой извилины он напряженно вглядывается в разорванные очертания берега. Что же, пусть Магеллан и дальше ведет флотилию во льды и в неизвестность. Им незачем больше спорить с ним, досаждать ему жалобами. Скоро пробьет час, когда он вынужден будет признаться: «Я не могу идти дальше, я не знаю, куда идти». А тогда настанет время для них взять командование в свои руки и сломить могущество высокомерного молчальника.

Более ужасное душевное состояние, нежели состояние Магеллана в те дни, вообразить невозможно. Ведь с тех пор как его надежда найти пролив была дважды жестоко обманута, в первый раз — возле устья Ла-Платы, во второй — у залива Сан-Матиас, он уже не может дольше таить от себя, что непоколебимая вера в секретную карту Бехайма и опрометчиво принятые за истину рассказы португальских кормчих ввели его в заблуждение. В наиболее благоприятном случае, если легендарный paso действительно существует, он может быть расположен только дальше к югу, то есть ближе к антарктической зоне; но и в этом благоприятном случае возможность пройти через него в текущем году уже упущена. Зима опередила Магеллана и опрокинула все его расчеты: до весны флотилия с ее потрепанными судами и недовольной командой не сможет воспользоваться проливом, даже если они теперь и найдут его. Девять месяцев проведено в плавании, а Магеллан еще не бросил якоря у Молуккских островов, как он имел неосторожность пообещать. Его флотилия по-прежнему блуждает и упорно борется за жизнь с жесточайшими бурями.

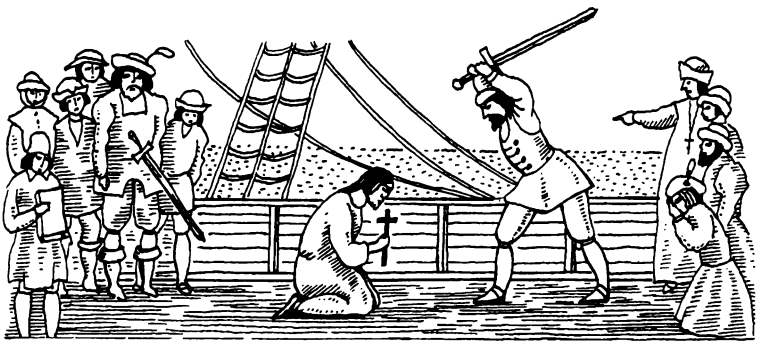
Самое разумное теперь было бы сказать всю правду. Созвать капитанов, признаться им, что карты и сообщения кормчих ввели его в заблуждение, что возобновить поиски paso можно будет лишь с наступлением весны, а сейчас лучше повернуть назад, укрыться от бурь, снова направиться вдоль берега вверх, в Бразилию, в приветливую, теплую страну, провести там в благодатном климате зиму, подправить суда и дать отдохнуть команде, прежде чем весной двинуться на юг. Это был бы самый простой путь, самый человечный образ действий. Но Магеллан зашел слишком далеко, чтобы повернуть вспять. Слишком долго он, сам обманутый, обманывал других, уверяя, что знает новый, кратчайший путь к Молуккским островам. Слишком сурово расправился он с теми, кто дерзнул хоть слегка усомниться в его тайне; он оскорбил испанских офицеров, он в открытом море отрешил от должности знатного королевского чиновника и обошелся с ним, как с преступником. Все это может быть оправдано только огромным, решающим успехом. Ведь и капитаны и экипаж ни одного часа, ни одной минуты доль-

ше не согласились бы ему повиноваться, если бы он не то что признал — об этом не может быть и речи, — а хотя бы намеком дал им понять, что далеко не так уверен в удачном исходе дела, как там, на родине, когда он давал обещания их королю; последний юнга отказался бы снимать перед ним шапку. Для Магеллана уже нет возврата: в минуту, когда он велел бы повернуть руль и взять курс на Бразилию, он из начальника своих офицеров превратился бы в их пленника. Вот почему он принимает отважное решение. Подобно Кортесу, который в том же году сжег все суда своей флотилии, дабы лишить своих воинов возможности вернуться, Магеллан решает задержать корабли и экипаж в столь отдаленном месте, что, даже если бы они и захотели, у них уже не было бы возможности принудить его к возвращению. Если затем, весною, он найдет пролив — дело выиграно. Не найдет — все пропало: среднего пути для Магеллана нет. Только упорство может даровать ему силу, только отвага — спасти его. И снова этот непостижимый, но все учитывающий человек готовится в тиши к решительному удару.

Тем временем бури день ото дня все яростней, уже по-зимнему набрасываются на корабли. Флотилия едва продвигается вперед. Целых два месяца потребовалось на то, чтобы пробиться на каких-нибудь двенадцать градусов дальше к югу. Наконец 31 марта на пустынном побережье снова открывается залив. Первый взгляд адмирала таит в себе его последнюю надежду. Не ведет ли этот залив вглубь, не он ли и есть заветный paso? Нет, это закрытая бухта. Тем не менее Магеллан велит войти в нее. А так как уже из беглого осмотра явствует, что здесь нет недостатка в ключевой воде и рыбе, он отдает приказ спустить якоря. И к великому своему изумлению, а быть может, и испугу, капитаны и команда узнают, что их адмирал (никого не предупредив, ни с кем не посоветовавшись) решил расположиться на зимовку здесь, в бухте Сан-Хулиан, в этом никому не ведомом, необитаемом заливе, лежащем на сорок девятом градусе южной широты, в одном из самых мрачных и пустынных мест земного шара, где никогда не бывал еще ни один мореплаватель.

Мятеж

2 апреля 1520 года — 7 апреля 1520 года



В морозной темнице, в далеком, омраченном низко нависшими тучами заливе Сан-Хулиан, обострившиеся отношения неминуемо должны были привести к еще более резким столкновениям, чем в открытом море. И ничто разительнее не свидетельствует о непоколебимой твердости Магеллана, как то, что он перед лицом столь тревожного настроения команды не устрашился мероприятия, которое неизбежно должно было усилить уже существующее недовольство. Магеллан один из всех знает, что в благодатные тропические страны флотилия в лучшем случае попадет через много месяцев; поэтому он отдает приказ экономнее расходовать запасы продовольствия и сократить ежедневный рацион. Фантастически смелый поступок: там, на краю света, в первый же день обозлить и без того уже раздраженный экипаж приказом о сокращении выдачи хлеба и вина.

И действительно, только эта энергичная мера спасла впоследствии флотилию. Никогда бы она не выдержала знаменитого стодневного плавания по Тихому океану, не будь сохранен в неприкосновенности известный запас провианта. Но команда, глубоко равнодушная к неизвестному ей замыслу, совсем не расположена покорно принять такое ограни-

чение. Инстинкт — и достаточно здравый — подсказывает изнуренным матросам, что даже если это плавание вознесет до небес их адмирала, то по меньшей мере три четверти из них расплатятся за его торжество бесславной гибелью от морозов и голода, непосильных трудов и лишений. Если не хватает продовольствия, ропщут они, надо повернуть назад; и так уж они продвинулись дальше на юг, чем кто бы то ни было. Никто не сможет упрекнуть их на родине, что они не выполнили своего долга. Несколько человек уже погибли от холода, а ведь они нанимались в экспедицию на Молуккские острова, а не в Ледовитый океан. На эти крамольные слова тогдашние летописи заставляют Магеллана отвечать речью, плохо вяжущейся со сдержанным, лишенным пафоса обликом этого человека и слишком отдающей Плутархом и Фукидидом, чтобы быть достоверной. Он изумлен тем, что они, кастильцы, проявляют такую слабость, забывая, что предприняли это плавание единственно, чтобы послужить своему королю и своей родине. Когда, говорит он далее, ему поручили командование, он рассчитывал найти в своих спутниках дух мужества, издревле вдохновлявший испанский народ. Что касается его самого — он решил лучше умереть, чем с позором вернуться в Испанию. Итак, пусть они терпеливо дожидаются, пока пройдет зима; чем большими будут их лишения, тем щедрее отблагодарит их потом король.

Но никогда еще красивые слова не укрощали голодный желудок. Не красноречие спасает Магеллана в тот критический час, а твердость принятого им решения не поддаваться, не идти ни на малейшие уступки. Сознательно вызывает он противодействие, чтобы тотчас железной рукой сломить его: лучше сразу пойти на решающее объяснение, чем томительно долго его откладывать! Лучше ринуться навстречу тайным врагам, чем ждать, пока они прижмут тебя к стене!

Что такое решающее объяснение должно последовать, и к тому же в ближайшее время, Магеллан от себя не скрывает. Слишком усилилось за последние недели напряжение, создаваемое безмолвной, пристальной взаимной слежкой, угрюмым молчанием Магеллана и капитанов; слишком невыносима эта взаимная холодная отчужденность — день

за днем, час за часом на борту одного и того же тесного судна. Когда-нибудь это молчание должно наконец разрядиться в бурном возмущении или в насилии.

Виноват в этом опасном положении скорее Магеллан, чем испанские капитаны, и слишком уж дешевый обычный прием — изображать непокорных Магеллану офицеров сворой бесчестных предателей, всегдашних завистников и врагов гения. В ту критическую минуту капитаны флотилии были не только вправе, но были обязаны требовать от него раскрытия его дальнейших намерений, ибо дело шло не только об их собственных жизнях, но и о жизнях вверенных им королем людей. Если Карл V назначил Хуана де Картахену, Луиса де Мендосу и Антонио де Коку на должность надзирающих за флотилией чиновников, то вместе с их высоким званием он возложил на них и определенную ответственность. Их дело — следить за сохранностью королевского достояния, пяти судов флотилии, и защищать их, если они подвергнутся опасности. А теперь им действительно грозит опасность, смертельная опасность. Прошли многие месяцы — Магеллан не сыскал обещанного пути, не достиг Молуккских островов. Следовательно, ничего нет оскорбительного, если, перед лицом очевидной растерянности Магеллана, принявшие присягу и получающие жалованье королевские чиновники требуют наконец, чтобы он хоть частично доверил им свою великую тайну, раскрыл перед ними свои карты. То, чего требовали капитаны, было в порядке вещей: начальнику экспедиции пора покончить с этой игрой в прятки, пора сесть с ними за стол и совместно обсудить вопрос о дальнейшем курсе, как впоследствии резюмирует их требования дель Кано в протоколе[73]: «Que tomase consejo con sus oficiales y que diese la derrota a donte queria ir»*.

Но злосчастный Магеллан — в этом и его вина, и его страдание — не может раскрыть свои карты, не будучи вполне уверен, что козырь действительно у него в руках. Он не может для своего оправдания представить портулан Мартина Бехайма, потому что там paso ошибочно отмечен на

---

* Пусть держит со своими офицерами совет, и сообщит им путь, и скажет, куда намерен идти (*исп.*).

сороковом градусе южной широты. Не может, после того как он отрешил от должности Хуана де Картахену, признать: «Я был обманут ложными сообщениями, и я обманул вас». Не может допустить вопросов о местонахождении пресловутого paso, потому что сам все еще не знает ответа. Он должен притворяться слепым, глухим, должен закусить губы и только держать наготове крепко стиснутый кулак на случай, если это назойливое любопытство станет для него угрожающим. В общем, положение таково: королевские чиновники решили во что бы то ни стало добиться объяснения от упорно молчащего адмирала и потребовать у него отчета в его дальнейших намерениях. А Магеллан, чьи счета не сойдутся, покуда paso не будет найден, не может допустить, чтобы его принудили отвечать и объясниться, иначе доверие к нему и его авторитет погибли.

Итак, совершенно очевидно: на стороне офицеров — право, на стороне Магеллана — необходимость. Если они теперь так настойчиво теснят его, то их напор — не праздное любопытство, а долг. Чтобы загладить обиду, нанесенную капитанам его самовластным распоряжением, Магеллан решает сделать учтивый жест: он официально приглашает их прослушать вместе с ним пасхальную заутреню и затем отобедать на флагманском судне. Но испанских дворян такой дешевой ценой не купишь, одним обедом от них не отделаешься. Сеньор Фернао де Магельяеш, единственно своими россказнями добившийся звания кавалера ордена Сант-Яго, в течение девяти месяцев ни разу не удостоил опытных моряков и королевских чиновников беседы о положении флотилии; теперь они, вежливо поблагодарив, отказываются от этой нежданной милости — праздничной трапезы. Вернее, они даже не благодарят, считая и такое более чем сдержанное изъявление вежливости излишним. Не давая себе труда ответить отказом, три капитана — Гаспар Кесада, Луис де Мендоса, Антонио де Кока — попросту пропускают мимо ушей приглашение адмирала. Незанятыми остаются приготовленные стулья, нетронутыми яства. В мрачном одиночестве сидит Магеллан за накрытым столом вместе со своим двоюродным братом Алваро де Мескитой, которого он собственной властью назначил капитаном, и, верно, его не очень тешит эта

задуманная как праздник мира пасхальная трапеза. Своим отсутствием все три капитана открыто бросили вызов. Во всеуслышание заявили ему: «Тетива туго натянута! Берегись — или одумайся!» К их чести нужно сказать, что не из-за угла, не предательски напали они на Магеллана. Они в последний раз дают ему понять, что их терпение истощилось, и Магеллану, если бы он захотел, нетрудно было понять этот намек.

Магеллан понял предостережение. Но ничто не может смутить этого человека с железными нервами. Спокойно, ничем не выдавая своей обиды, сидит он за столом с Алваро де Мескитой, спокойно отдает на борту обычные приказы, спокойно, распростерши свое крупное грузное тело, готовится отойти ко сну. Вскоре гаснут все огни; недвижно, словно огромные черные задремавшие звери, стоят пять кораблей в туманном заливе; с борта одного из них лишь с трудом можно различить очертания другого, так глубок мрак этой по-зимнему долгой ночи под затянутым тучами небом. В непроглядной тьме не видно, за шумом прибоя не слышно, как около полуночи от одного из кораблей тихо отделяется шлюпка и бесшумными взмахами весел продвигается к «Сан-Антонио». Никто и не подозревает, что в этой осторожно, словно челн контрабандиста, скользящей по волнам шлюпке притаились королевские капитаны — Хуан де Картахена, Гаспар Кесада и Антонио де Кока. План трех действующих сообща офицеров разработан умно и смело. Они знают: чтобы одолеть такого отважного противника, как Магеллан, нужно обеспечить себе значительное превосходство сил. И это численное превосходство мудро предусмотрел Карл V: при отплытии только один из кораблей — флагманское судно Магеллана — был доверен португальцу, а в противовес этому испанский двор мудро поручил командование остальными четырьмя судами испанским капитанам. Правда, Магеллан самовольно опрокинул это установленное желанием императора соотношение, отняв под предлогом «ненадежности» сначала у Хуана де Картахены, а затем у Антонио де Коки командование «Сан-Антонио» и передав командование этим судном, первым по значению после флагманского, своему двоюродному брату Алваро де Меските.

Твердо держа в руках два самых крупных корабля, он при критических обстоятельствах и в военном отношении будет главенствовать над флотилией. Имеется, следовательно, только одна возможность сломить его сопротивление и восстановить предуказанный императором порядок: как можно скорее захватить «Сан-Антонио» и каким-нибудь бескровным способом обезвредить незаконно назначенного капитаном де Мескиту. Тогда соотношение будет восстановлено и они смогут заградить Магеллану выход из залива, покуда он не соблаговолит дать королевским чиновникам все нужные им объяснения.

Отлично продуман этот план и не менее тщательно выполнен испанскими капитанами. Бесшумно подбирается шлюпка с тридцатью вооруженными людьми к погруженному в дремоту «Сан-Антонио», на котором — кто здесь в бухте помышляет о неприятеле? — не выставлена ночная вахта.

По веревочным трапам взбираются на борт заговорщики во главе с Хуаном де Картахеной и Антонио де Кокой. Бывшие командиры «Сан-Антонио» и в темноте находят дорогу к капитанской каюте; прежде чем Альваро де Мескита успевает вскочить с постели, его со всех сторон обступают вооруженные люди; мгновение — он в кандалах и уже брошен в каморку судового писаря. Только теперь просыпаются несколько человек; один из них — кормчий Хуан де Элорьяга — чует измену. Грубо спрашивает он Кесаду, что ему понадобилось ночью на чужом корабле. Но Кесада отвечает шестью молниеносными ударами кинжала, и Элорьяга падает, обливаясь кровью. Всех португальцев на «Сан-Антонио» заковывают в цепи; тем самым выведены из строя надежнейшие приверженцы Магеллана, а чтобы привлечь на свою сторону остальных, Кесада приказывает отпереть кладовые и дозволяет матросам наконец-то вволю наесться и напиться. Итак, если не считать досадного происшествия — удара кинжалом, придавшего этому налету характер кровавого мятежа, — дерзкая затея испанских капитанов полностью удалась. Хуан де Картахена, Кесада и де Кока могут спокойно возвратиться на свои суда, чтобы на крайний случай привести их в боевую готовность; командование «Сан-Антонио» поручается человеку, имя которого здесь появляется впер-

вые, — Себастьяну дель Кано. В этот час он призван помешать Магеллану в осуществлении заветной мысли; настанет другой час, когда его, именно его изберет судьба для завершения великого дела Магеллана.

Корабли недвижно, словно огромные черные дремлющие звери, покоятся в туманном заливе. Ни звука, ни огонька; догадаться о том, что произошло, невозможно.

По-зимнему поздно и неприветно брезжит рассвет в этом угрюмом крае. Все так же недвижно стоят пять судов флотилии на том же месте в морозной темнице залива. Ни по какому внешнему признаку не может догадаться Магеллан, что верный его друг и родственник, что все находящиеся на борту «Сан-Антонио» португальцы закованы в цепи, а вместо Мескиты судном командует мятежный капитан. На мачте развевается тот же вымпел, что и накануне, издали все выглядит по-прежнему, и Магеллан велит начать обычную работу: как всегда по утрам, он посылает с «Тринидада» лодку к берегу, чтобы доставить оттуда дневной рацион дров и воды для всех кораблей. Как всегда, лодка сначала подходит к «Сан-Антонио», откуда регулярно каждый день отряжают на работу по нескольку матросов. Но странное дело: на этот раз, когда лодка приближается к «Сан-Антонио», с борта не спускают веревочного трапа, ни один матрос не показывается, а когда гребцы сердито кричат, чтобы там, на палубе, пошевелились, им сообщают ошеломляющую весть: на этом корабле не подчиняются приказам Магеллана, а повинуются только капитану Гаспару Кесаде. Ответ слишком необычен, и матросы гребут обратно, чтобы обо всем доложить адмиралу.

Он сразу уясняет себе положение: «Сан-Антонио» в руках мятежников. Магеллана перехитрили. Но даже это убийственное известие не в состоянии хотя бы на минуту ускорить биение его пульса, затемнить здравость его суждений. Прежде всего необходимо учесть размер опасности: сколько судов еще за него, сколько против? Без промедления посылает он ту же шлюпку от корабля к кораблю. За исключением незначительного «Сант-Яго», все три корабля — «Сан-Антонио», «Консепсьон», «Виктория» — оказываются на стороне

бунтовщиков. Итак, три против двух или, вернее, три против одного — «Сант-Яго» не может считаться боевой единицей. Казалось бы, партию надо считать проигранной, всякий другой прекратил бы игру. За одну ночь погибло дело, которому Магеллан посвятил несколько лет своей жизни. С одним только флагманским судном он не в состоянии продолжать плавание в неведомую даль, а от остальных кораблей он не может ни отказаться, ни принудить их к повиновению. В этих водах, которых никогда еще не касался киль европейского судна, помощи ждать неоткуда. Лишь две возможности остаются Магеллану в этом ужасающем положении: первая — логическая и ввиду численного превосходства врага, в сущности, сама собой разумеющаяся — преодолеть свое упорство и пойти на примирение с испанскими капитанами; и затем вторая — совершенно абсурдная, но героическая: поставить все на одну карту и, несмотря на полную безнадежность, попытаться нанести мощный ответный удар, который принудит бунтовщиков смириться.

Все говорит за первое решение — за то, чтобы пойти на уступки. Ведь мятежные капитаны еще не посягнули на жизнь адмирала, не предъявили ему определенных требований. Недвижно стоят их корабли, пока что от них не приходится ждать вооруженного нападения. Испанские капитаны, несмотря на свое численное превосходство, тоже не хотят за многие тысячи миль от родины начать бессмысленную братоубийственную войну. Слишком памятна им присяга в севильском соборе, слишком хорошо известна позорная кара за мятеж и дезертирство. Облеченные королевским доверием дворяне Хуан де Картахена, Луис де Мендоса, Гаспар Кесада, Антонио де Кока хотят возвратиться в Испанию с почетом, а не с клеймом предательства, поэтому они не подчеркивают своего перевеса, а с самого начала заявляют о готовности вступить в переговоры. Не кровавую распрю хотят они начать захватом «Сан-Антонио», а только оказать давление на адмирала, принудить упорного молчальника объявить им дальнейший путь следования королевской флотилии.

Вот почему письмо, которое уполномоченный мятежных капитанов Гаспар Кесада посылает Магеллану, отнюдь

не является вызовом, а, напротив, смиренно озаглавлено «Suplicación», то есть «прошение»; составленное в учтивейших выражениях, оно начинается с оправдания совершенного ночью налета. Только дурное обращение Магеллана, гласит это письмо, принудило их захватить корабль, начальниками которого их назначил сам король. Но пусть адмирал не истолковывает этот поступок как отказ признавать пожалованную ему королем верховную власть над флотилией. Они только требуют лучшего обхождения в дальнейшем, и, если он согласится выполнить это справедливое пожелание, они будут служить ему не только послушно, как того требует долг, но и с глубочайшим почтением. (Письмо написано таким неимоверно напыщенным слогом, что дать точный перевод его невозможно.)

При наличии несомненного военного превосходства на стороне испанских капитанов это предложение весьма заманчиво. Но Магеллан уже давно избрал другой, героический путь. От его проницательного взора не ускользнуло слабое место противника — неуверенность в себе. По тону их послания он чутьем догадался, что в глубине души главари мятежа не решаются довести дело до крайности; в этом колебании, при их численном превосходстве, он увидел единственное слабое место в позиции испанских капитанов. Если использовать этот шанс, нанести молниеносный удар — быть может, дело примет иной оборот. Одним смелым ходом будет выиграна партия, казалось бы уже потерянная.

Однако — приходится это снова отметить и подчеркнуть — Магелланову понятию смелости присущ совершенно особый оттенок. Действовать смело — для него не значит рубить с плеча, стремительно бросаться вперед, а напротив: с величайшей осторожностью и обдуманностью браться за беспримерное по своей смелости начинание. Дерзновеннейшие замыслы Магеллана всегда, подобно добротной стали, сначала выковываются на огне страстей, а потом закаляются во льду трезвого размышления, и все опасности он преодолевает именно благодаря этому соединению фантазии и рассудочности. Его план готов в одну минуту, остальное время понадобится лишь на то, чтобы точно учесть детали. Магеллану ясно: он должен сделать то же, что сделали его капита-

ны, — должен завладеть хотя бы одним судном, чтобы снова получить перевес. Но как легко далось это бунтовщикам и как трудно придется Магеллану! Они под покровом ночи напали на ничего не подозревающих людей. Спал капитан, спала команда. Никто не готовился к обороне, ни у кого из матросов не было оружия под руками. Но теперь, среди бела дня... Недоверчиво следят мятежные капитаны за каждым движением на флагманском судне. Пушки и бомбарды приведены в боевую готовность, аркебузы заряжены; мятежникам слишком хорошо известно мужество Магеллана, они считают его способным на самый отчаянный шаг.

Но им известно только его мужество, его изворотливости они не знают. Они не подозревают, что этот молниеносно все учитывающий человек отважится на невероятное — напасть среди бела дня с горстью людей на три превосходно вооруженных судна. Гениальным маневром было уже то, что объектом дерзновенного удара он намечает не «Сан-Антонио», где томится в цепях его двоюродный брат Мескита. Ведь там, разумеется, скорее всего, ждут нападения. Но именно потому, что удара ждут справа, Магеллан бьет слева — не по «Сан-Антонио», а по «Виктории».

Контратака Магеллана блестяще продумана, вплоть до мельчайших подробностей. Прежде всего он задерживает шлюпку и матросов, передавших ему составленное Кесадой «прошение», предлагающее вступить в переговоры. Этим он достигает двух целей: во-первых, в случае вооруженного столкновения ряды бунтовщиков будут ослаблены хотя бы на несколько человек, а во-вторых, благодаря этому мгновенно осуществленному захвату в его распоряжении уже не одна шлюпка, а две, и это, на первый взгляд ничтожное, преимущество вскоре окажет решающее воздействие на ход событий.

Теперь он, оставив шлюпку «Тринидада» в резерве, может на шлюпке, захваченной у мятежников, отправить беззаветно преданного ему каптенармуса, альгвасила флота Гонсало Гомеса де Эспиносу с пятью матросами на «Викторию» — передать капитану Луису де Мендосе ответное письмо.

Не чуя опасности, следят мятежники со своих превосходно вооруженных судов за приближением крохотной шлюп-

ки. Никаких подозрений у них не возникает. Разве могут шестеро людей, сидящих в этой шлюпке, напасть на «Викторию» с ее шестью десятками вооруженных матросов, множеством заряженных бомбард и опытным капитаном Луисом де Мендосой? Да и как им догадаться, что под камзолами у этих шестерых припрятано оружие и что Гомесу де Эспиносе дано особое задание? Неспешно, совсем неспешно, с нарочитой, тщательно обдуманной медлительностью — каждая секунда рассчитана — взбирается он со своими пятью воинами на борт и вручает капитану Луису де Мендосе письменное приглашение явиться для переговоров на флагманский корабль.

Мендоса читает письмо. Но ему слишком памятна сцена, в свое время разыгравшаяся на «Тринидаде», когда Хуан де Картахена внезапно был схвачен как преступник. Нет, Луис де Мендоса не будет таким глупцом, чтобы дать заманить себя в ту же ловушку. «No me pillarás allá» — «Э нет, тебе меня не заполучить», — со смехом говорит он, читая письмо. Но смех переходит в глухое клокотанье — кинжал альгвасила пронзил ему горло.

В эту критическую минуту — можно только поражаться, с какой фантастической точностью Магеллан заранее рассчитал каждый метр, каждый взмах весел, необходимый на то, чтобы добраться с одного корабля до другого, — на борт «Виктории» поднимаются пятнадцать с головы до ног вооруженных воинов, под начальством Дуарте Барбосы подплывших на другой шлюпке. Команда в остолбенении глядит на бездыханное тело своего капитана, которого Эспиноса прикончил одним ударом. Не успели они осмыслить происшедшее и принять какое-либо решение, как Дуарте Барбоса уже взял на себя командование, его люди уже заняли важнейшие посты, вот он уже отдает приказания, и оробевшие моряки испуганно повинуются ему. Мгновенно выбран якорь, поставлены паруса — и прежде чем на двух других мятежных судах поняли, что гром грянул с ясного неба, «Виктория», в качестве законной добычи адмирала, уже направилась к флагманскому судну. Три корабля — «Тринидад», «Виктория» и «Сант-Яго» — стоят теперь против «Сан-Антонио» и «Консепсьона» и, заграждая выход в открытое море, лишают бунтовщиков возможности спастись бегством.

Благодаря этому стремительному маневру чаша весов одним рывком взметнулась вверх, партия, уже потерянная, была выиграна. В какие-нибудь пять минут испанские капитаны утратили превосходство; теперь им представляется три возможности: бежать, бороться или сдаться без боя. Бегство адмирал сумел предупредить, заперев своими тремя кораблями выход из залива. Бороться они уже не могут: внезапный удар Магеллана сокрушил мужество его противников. Тщетно старается Гаспар де Кесада, в полном вооружении, с копьем в одной руке и мечом в другой, призвать экипаж к борьбе. Перепуганные матросы не решаются следовать за ним, и стоит только шлюпкам с людьми Магеллана вплотную подойти к борту, как всякое сопротивление на «Сан-Антонио» и «Консепсьоне» прекращается. Пробывший несколько часов в заключении Алваро де Мескита вновь получает свободу; в те самые цепи, которыми был унижен верный соратник Магеллана, теперь заковывают мятежных капитанов.

Быстро, как летняя гроза, разрядилось напряжение; первая же вспышка молнии расщепила мятеж до самого корня. Но возможно, что эта открытая борьба была лишь наиболее легкой частью задачи, ибо, согласно морским и военным законам, виновные обязательно должны понести суровую кару. Мучительные сомнения обуревают Магеллана. Королевский приказ даровал ему безусловное право вершить правосудие, решать вопрос о жизни и смерти. Но ведь главари мятежа облечены, как и он сам, королевским доверием. Во имя сохранения своего авторитета ему надлежало бы теперь беспощадно расправиться с восставшими. Но в то же время он не может покарать всех мятежников. Ибо как продолжать путь, если, согласно военным законам, пятая часть всей команды будет вздернута на реи? За тысячи миль от родины, в пустынном краю адмирал флотилии не может лишиться нескольких десятков рабочих рук; следовательно, ему нужно и дальше везти виновных с собой, хорошим обращением снова привлечь их на свою сторону, а вместе с тем запугать их зрелищем примерного наказания.

Магеллан решается для острастки и поддержания неоспоримости своего авторитета пожертвовать одним человеком,

и его выбор падает на единственного, кто обнажил оружие, — на капитана Гаспара Кесаду, нанесшего смертельную рану его верному кормчему Элорьяге.

Торжественно начинается этот вынужденный крайней необходимостью процесс: призваны писцы — escribeiros, показания свидетелей заносятся в протокол так же пространно и педантично, как если б это происходило в судебной палате Севильи или Сарагосы; в пустынных просторах Патагонии исписывают они лист за листом драгоценной здесь бумаги. На «ничьей земле» открывается заседание суда: председатель Мескита предъявляет бывшему капитану королевской армады Гаспару Кесаде обвинение в убийстве и мятежных действиях, а Магеллан выносит приговор: Гаспар Кесада присуждается к смертной казни, и единственная милость, которую адмирал оказывает испанскому дворянину, состоит в том, что орудием казни будет не веревка — garrotte, а меч.

Но кому же быть палачом? Вряд ли кто-нибудь из команды пойдет на это добровольно. Наконец палача удается найти, правда страшной ценой. Слуга Кесады тоже приложил руку к убийству Элорьяги и тоже приговорен к смертной казни. Ему предлагают помилование, если он согласится обезглавить Кесаду. Вероятно, альтернатива — быть казненным самому или казнить своего господина — причинила Луису де Молино, слуге Кесады, тяжкие душевные муки. Но в конце концов он соглашается. Ударом меча он обезглавливает Кесаду, тем самым спасая собственную голову. По гнусному обыкновению тех времен, труп Кесады, как и труп ранее убитого Мендосы, четвертуют, а изуродованные останки натыкают на шесты; этот страшный обычай Тауэра и других лобных мест Европы впервые переносится на почву Патагонии.

Но еще и другой приговор предстоит вынести Магеллану — и кто может сказать, будет ли он более мягким или более жестоким, чем казнь через обезглавливание? Хуан де Картахена, собственно зачинщик мятежа, и один из священников, все время разжигавший недовольство, тоже признаны виновными. Но тут даже у Магеллана, при всей его отваге, не поднимается рука подписать смертный приговор. Не может королевский адмирал передать в руки палача того, кто самим королем приравнен к нему в качестве conjuncta

persona. К тому же Магеллан, как набожный католик, никогда не возьмет на душу тяжкий грех — пролить кровь пастыря, принявшего помазание священным елеем. Заковать обоих зачинщиков в кандалы и таскать их с собой вокруг света тоже не представляется возможным, и Магеллан уклоняется от решения, присудив Картахену и священника к изгнанию из королевской флотилии. Когда настанет время снова поднять паруса, оба они, снабженные некоторым количеством вина и съестных припасов, будут оставлены на пустынном берегу бухты Сан-Хулиан, а затем — пусть решает Господь, жить им или умереть.

Прав ли был Магеллан или не прав, когда он вынес в бухте Сан-Хулиан этот беспощадный приговор? Заслуживают ли безусловного доверия составленные под наблюдением его двоюродного брата Мескиты судебные протоколы, которые ничего не приводят в оправдание виновных? Но с другой стороны, правдивы ли позднейшие показания испанских капитанов, данные уже в Севилье и утверждающие, будто Магеллан в награду за злодейское убийство Мендосы уплатил альгвасилу и сопровождавшим его матросам двенадцать дукатов и, сверх того, выдал им все имущество обоих умерщвленных дворян? Магеллана к тому времени уже не было в живых, опровергнуть эти показания он не мог. Почти каждое событие уже мгновение спустя после того, как оно свершилось, может быть истолковано по-разному, и если история впоследствии и оправдала Магеллана, то не надо забывать, что она обычно оправдывает победителя и осуждает побежденных. Геббель однажды обмолвился проникновенным словом: «Истории безразлично, как совершаются события. Она становится на сторону тех, кто творит великие дела и достигает великих целей». Не найди Магеллан paso, не соверши он своего подвига, умерщвление возражавших против его опасного предприятия капитанов расценивалось бы как обыкновенное убийство. Но так как Магеллан оправдал себя подвигом, стяжавшим ему бессмертие, то бесславно погибшие испанцы были преданы забвению, а суровость и непреклонность Магеллана — если не морально, то исторически — признаны правомерными.

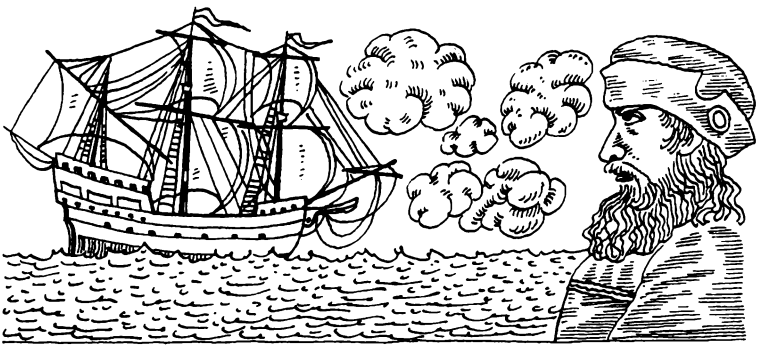
Во всяком случае, кровавый приговор, вынесенный Магелланом, послужил опасным примером для самого гениального из его последователей и продолжателей, для Фрэнсиса Дрейка. Когда пятьдесят семь лет спустя отважному английскому мореплавателю и пирату в столь же опасном плавании угрожал столь же опасный бунт его команды, он, бросив якорь в той же злополучной бухте Сан-Хулиан, отдал мрачную дань своему предшественнику, повторив его беспощадную расправу. Фрэнсис Дрейк в точности знал все, что произошло во время Магелланова плавания, ему были известны протоколы и жестокая расправа адмирала с мятежниками; по преданию, он даже нашел в этой бухте кровавую плаху, на которой пятьдесят семь лет назад был казнен один из главарей мятежа. Имя восставшего против Дрейка капитана — Томас Доути; подобно Хуану де Картахене, он во время плавания был закован в цепи, и — странное совпадение! — на том же побережье, в том же puerto negro*, бухте Сан-Хулиан, и ему был вынесен приговор. И этот приговор также гласил: смерть. Разница лишь в том, что Фрэнсис Дрейк предоставил своему бывшему другу мрачный выбор — принять, подобно Гаспару Кесаде, быструю и почетную смерть от меча или же, подобно Хуану де Картахене, быть покинутым в этом заливе. Доути, тоже читавший историю Магелланова плавания, знал, что никто никогда уже не слышал больше о Хуане де Картахене и оставленном вместе с ним священнике — по всей вероятности, они погибли мучительной смертью — и отдал предпочтение верной, но быстрой, достойной мужчины и воина смерти — через обезглавливание. Снова падает на песок отрубленная голова. Извечный рок, тяготеющий над человечеством, — почти все достопамятные деяния обагрены кровью, и совершить великое удается только самым непреклонным из людей.

---

* Черная гавань (*исп.*).

Великая минута

7 апреля 1520 года — 28 ноября 1520 года



Без малого пять месяцев удерживает холод флотилию в унылой, злосчастной бухте Сан-Хулиан. Томительно долго тянется время в этом страшном уединении, но адмирал, зная, что сильней всего располагает к недовольству безделье, с самого начала занимает матросов непрерывной, напряженной работой. Он приказывает осмотреть от киля до мачт и починить износившиеся корабли, нарубить леса, напилить досок. Придумывает, быть может, даже ненужную работу, лишь бы поддержать в людях обманчивую надежду, что вскоре возобновится плавание, что, покинув унылую морозную пустыню, они направятся к благодатным островам Южного моря.

Наконец появляются первые признаки весны. В эти долгие, по-зимнему пасмурные, мглистые дни морякам казалось, что они затеряны в пустыне, не населенной ни людьми, ни животными, и вполне понятное чувство страха — прозябать здесь, вдали от всего человеческого, подобно пещерным жителям, еще больше омрачало их дух. И вдруг, однажды утром, на прибрежном холме показывается какая-то странная фигура — человек, в котором они поначалу не признают себе подобного, ибо в первую минуту испуга и изум-

ления он кажется им вдвое выше обычного человеческого роста. «Duobus humanum superantes staturam»*, — пишет о нем Петр Ангиерский, а Пигафетта подтверждает его свидетельство словами: «Этот человек отличался таким гигантским ростом, что мы едва достигали ему до пояса. Был он хорошо сложен, лицо у него было широкое, размалеванное красными полосами, вокруг глаз нарисованы желтые круги, а на щеках — два пятна в виде сердца. Короткие волосы выбелены, одежда состояла из искусно сшитых шкур какого-то животного». Особенно дивились испанцы невероятно большим ногам этого исполинского человекообразного чудища, в честь этого «великоногого» (patagao) они стали называть туземцев патагонцами, а их страну — Патагонией.

Но вскоре страх перед сыном Еноха[74] рассеивается. Облаченное в звериные шкуры существо приветливо ухмыляется, широко расставляя руки, приплясывает и поет и при этом непрерывно посыпает песком волосы. Магеллан, еще по прежним своим путешествиям несколько знакомый с нравами первобытных народов, правильно истолковывает эти действия как попытки к мирному сближению и велит одному из матросов подобным же образом плясать и также посыпать себе голову песком. На потеху усталым морякам дикарь и вправду принимает эту пантомиму за дружественное приветствие и доверчиво приближается. Итак, Тринкуло и его товарищи обрели наконец своего Калибана[75]: впервые за долгий срок бедным истосковавшимся матросам представляется случай развлечься и вволю посмеяться. Ибо когда добродушному великану неожиданно суют под нос металлическое зеркальце, он, впервые увидев в нем собственное лицо, от изумления стремительно отскакивает и сшибает с ног четверых матросов. Аппетит у него такой, что матросы, глядя на него, от изумления забывают о скудости собственного рациона. Вытаращив глаза, наблюдают они, как новоявленный Гаргантюа залпом выпивает ведро воды и съедает на закуску полкорзины сухарей. А какой шум подымается, когда он на глазах у изумленных и слегка испуганных зрителей живьем, даже не содрав шкуры, съедает нескольких

* Рост его вдвое превосходил человеческий (*лат.*).

крыс, принесенных матросами в жертву его ненасытному аппетиту. С обеих сторон — между обжорой и матросами — возникает искренняя симпатия, а когда Магеллан вдобавок дарит ему две-три погремушки, тот спешит привести еще нескольких великанов и даже великанш.

Но эта доверчивость окажется гибельной для простодушных детей природы. Магеллан, как и Колумб и все другие конквистадоры, получил от Casa de la Contratación задание — привезти на родину по нескольку экземпляров не только растений н минералов, но и всех неизвестных человеческих пород, какие ему придется встретить. Поймать живьем такого великана сперва кажется матросам столь же опасным, как схватить за плавник кита. Боязливо ходят они вокруг да около патагонцев, но в последнюю минуту у них каждый раз не хватает смелости. Наконец они пускаются на гнусную уловку. Двум великанам суют в руки такое множество подарков, что им приходится всеми десятью пальцами удерживать добычу. А затем блаженно ухмыляющимся туземцам показывают еще какие-то на диво блестящие, звонко брящающие предметы — ножные кандалы — и спрашивают, не желают ли они надеть их на ноги. Лица бедных патагонцев расплываются в широчайшую улыбку; они усердно кивают головой, с восторгом представляя себе, как эти диковинные штуки будут звенеть и греметь при каждом шаге. Крепко держа в руках подаренные безделушки, дикари, согнувшись, с любопытством наблюдают, как к их ногам прилаживают блестящие холодные кольца, так весело бренчащие; но вдруг — дзинь, и они в оковах. Теперь великанов можно без страха, словно мешки с песком, повалить наземь, в кандалах они уже не страшны. Обманутые туземцы рычат, катаются по земле, брыкаются и призывают на помощь свое божество Сетебоса[76]. Но Casa de la Contratación нужны диковинки. И вот, как оглушенных быков, волокут беззащитных великанов на суда, где им, по недостатку пищи, суждено вскоре захиреть и погибнуть. Вероломное нападение «культуртрегеров» одним ударом разрушило доброе согласие между туземцами и моряками. Отныне патагонцы чуждаются обманщиков, а когда испанцы однажды пускаются за ними в погоню с целью не то похитить, не то посетить нескольких вели-

канш — в этом месте рассказ Пигафетты удивительно сбивчив, — они отчаянно защищаются, и один из матросов расплачивается жизнью за эту затею.

Как туземцам, так и испанцам злополучная бухта Сан-Хулиан приносит одни лишь несчастья. Ничто здесь не удается Магеллану, ни в чем ему нет счастья, словно проклятье тяготеет над обагренным кровью берегом. «Только бы скорее отсюда, только бы скорее назад», — стонет команда. «Дальше, дальше, вперед», — мечтает Магеллан, и общее нетерпение растет, по мере того как дни становятся длиннее. Едва только стихает ярость зимних бурь, как Магеллан уже делает попытку двинуться вперед. Самое маленькое, самое быстроходное из всех своих судов, «Сант-Яго», управляемое надежным капитаном Серрано, он посылает на разведки, словно голубя Ноева ковчега. Серрано поручено, плывя на юг, обследовать все бухты и по истечении известного срока вернуться с донесением. Быстро проходит время, и Магеллан беспокойно и нетерпеливо начинает всматриваться в водную даль. Но не с моря приходит весть о судьбе корабля, а с суши: однажды с одного из прибрежных холмов, пошатываясь и едва держась на ногах, спускаются какие-то две странные фигуры; сначала моряки принимают их за патагонцев и уже натягивают тетиву арбалетов. Но нагие, замерзшие, изнуренные голодом, изможденные, одичалые люди-призраки кричат им что-то по-испански — это два матроса с «Сант-Яго». Они принесли дурную весть: Серрано достиг было большой, изобилующей рыбой реки с широким и удобным устьем, Рио-де-Санта-Крус, но во время дальнейших разведок судно выбросило штормом на берег. Оно разбилось в щепы. За исключением одного негра, вся команда спаслась и ждет помощи у Рио-де-Санта-Крус. Они вдвоем решились добраться вдоль берега до залива Сан-Хулиан и в эти одиннадцать страшных дней питались исключительно травой и кореньями.

Магеллан немедленно высылает шлюпку. Потерпевшие крушение возвращаются в залив. Но что проку от людей — ведь погибло судно, быстроходное, лучше других приспособленное для разведки! Это первая утрата, и, как всякая утрата, понесенная здесь, на другом конце света, она невозместима.

Наконец 24 августа Магеллан велит готовиться к отплытию и, бросив последний взгляд на двух оставленных на берегу мятежников, покидает бухту Сан-Хулиан, в душе, вероятно, проклиная день, заставивший его бросить здесь якорь. Одно из его судов погибло, три капитана простились тут с жизнью, а главное — целый год ушел безвозвратно, и ничего еще не сделано, ничего не найдено, ничего не достигнуто.

Должно быть, эти дни были самыми мрачными в жизни Магеллана, возможно — единственными, когда он, столь непоколебимо веривший в свое дело, втайне пал духом. Уже одно то, что при отплытии из залива Сан-Хулиан он с деланной твердостью заявляет о своем решении следовать, если понадобится, вдоль патагонского побережья даже до семьдесят пятого градуса южной широты и, только если и тогда соединяющий два океана пролив не будет найден, избрать обычный путь, мимо мыса Доброй Надежды, — уже одни эти оговорки «если понадобится» и «быть может» выдают его неуверенность. Впервые Магеллан обеспечивает себе возможность отступления, впервые признается своим офицерам, что искомый пролив, быть может, вовсе и не существует или же находится в арктических водах. Он явно утратил внутреннюю убежденность, и вдохновенное предчувствие, заставившее его устремиться на поиски paso, теперь, в решающую минуту, оставляет его. Вряд ли история когда-либо измышляла более издевательское, более нелепое положение, чем то, в котором очутился Магеллан, когда после двухдневного плавания ему снова пришлось остановиться, на этот раз у открытого капитаном Серрано устья реки Санта-Крус, и снова предписать судам два месяца зимней спячки. Ибо с точки зрения современных, более точных географических данных решение это совершенно бессмысленно.

Перед нами человек, движимый великим замыслом, но введенный в заблуждение туманными и вдобавок неверными сообщениями, который поставил целью всей своей жизни найти водный путь из Атлантического океана в Тихий и, таким образом, впервые совершить кругосветное плавание. Благодаря своей демонической воле он сокрушил противодействие материи, он нашел помощников для осущест-

вления своего, почти невыполнимого, плана; покоряющей силой своего замысла он побудил чужого монарха доверить ему флотилию и благополучно провел эту флотилию вдоль побережья Южной Америки до мест, которых ранее не достигал еще ни один мореплаватель. Он совладал с морской стихией и с мятежом. Никакие препятствия, никакие разочарования не могли сокрушить его фантастическую веру в то, что он находится уже совсем близко от этого paso, от этой цели всех своих стремлений. И вот внезапно, перед самой победой, подернулся туманом вещий взор этого вдохновенного человека. Словно боги, невзлюбившие его, намеренно надели ему на глаза повязку. Ибо в тот день — 26 августа 1520 года, — когда Магеллан приказывает флотилии снова лечь в дрейф на целых два месяца, он, в сущности, уже у цели. Только на два градуса широты нужно ему еще продвинуться к югу, только два дня пробыть в пути после трехсот с лишним дней плавания, только несколько миль пройти после того, как он уже оставил их за собою тысячи, — и его смятенная душа преисполнилась бы ликования. Но — злая насмешка судьбы! Несчастный не знает и не чувствует, как он близок к цели. В продолжение двух тоскливых месяцев, полных забот и сомнений, ждет он весны, ждет близ устья реки Санта-Крус, у пустынного, забытого людьми берега, уподобляясь человеку, в лютую метель остановившемуся, коченея от холода, у самых дверей своей хижины и не подозревающему, что стоит ему ощупью сделать один только шаг — и он спасен. Два месяца, два долгих месяца проводит Магеллан в этой пустыне, терзаясь мыслью, найдет ли он paso или нет, а всего в двух сутках пути его ждет пролив, который будет славить в веках его имя. До последней минуты человека, решившего, подобно Прометею, похитить у Земли ее сокровенную тайну, будет хищными когтями терзать жестокое сомнение.

Но тем прекраснее счастливый исход! Предельных вершин достигает только то блаженство, которое взметнулось вверх из предельных глубин отчаяния. 18 октября 1520 года, после двух месяцев унылого и ненужного ожидания, Магеллан отдает приказ сняться с якоря. Отслуживается торжественная обедня, команда причащается, и корабли на всех

парусах устремляются к югу. Ветер снова яростно противоборствует им, пядь за пядью отвоевывают они у враждебной стихии.

Мягкая зелень все еще не ласкает взор. Пустынно, плоско, угрюмо и неприветливо простирается перед ними необитаемый берег: песок и голые скалы, голые скалы и песок... На третий день плавания, 21 октября 1520 года, впереди наконец обрисовывается какой-то мыс; у необычайно извилистого берега высятся белые скалы, а за этим выступом, в честь великомучениц, память которых праздновалась в тот день, названным Магелланом — «мысом Дев», взору открывается глубокая бухта с темными, мрачными водами. Суда подходят ближе. Своеобразный, суровый и величественный ландшафт! Обрывистые холмы с причудливыми, ломаными очертаниями, а вдали — уже более года невиданное зрелище! — горы с покрытыми снегом вершинами. Но как безжизненно все вокруг! Ни одного человеческого существа, кое-где редкие деревья да кусты, и только неумолчный вой и свист ветра нарушают мертвую тишину этой призрачно пустынной бухты. Угрюмо вглядываются матросы в темные глубины. Нелепостью кажется им предположение, что этот стиснутый горами, мрачный, как воды подземного царства, путь может привести к зеленому побережью или даже к Mar del Sur — к светлому, солнечному Южному морю. Кормчие в один голос утверждают, что этот глубокий выем — не что иное, как фьорд, такой же, какими изобилуют северные страны, и что исследовать эту закрытую бухту лотом или бороздить ее во всех направлениях — напрасный труд, бесцельная трата времени. И без того уж слишком много недель потрачено на исследование всех этих патагонских бухт, а ведь ни в одной из них не нашелся выход в желанный пролив. Довольно уже проволочек! Скорее вперед, а если estrecho вскоре не покажется, надо воспользоваться благоприятным временем года и вернуться на родину — или же, обычным путем огибая мыс Доброй Надежды, проникнуть в Индийское море.

Но Магеллан, подвластный своей навязчивой идее о существовании неведомого пути, приказывает избороздить вдоль и поперек и эту странную бухту. Без усердия выполняется его приказ: куда охотнее они направились бы дальше, ведь

все они «думали и говорили, что это замкнутая со всех сторон бухта» («serrato tutto in torno»). Два судна остаются на месте — флагманское и «Виктория», чтобы обследовать прилегающую к открытому морю часть залива. Двум другим — «Сан-Антонио» и «Консепсьону» — дан приказ: как можно дальше проникнуть в глубь бухты, но возвратиться не позднее чем через пять дней. Время теперь стало дорого, да и провиант подходит к концу. Магеллан уже не в состоянии дать две недели сроку, как раньше, возле устья Ла-Платы. Пять дней на рекогносцировку — последняя ставка, все, чем он еще может рискнуть для этой последней попытки.

И вот наступило великое, драматическое мгновение. Два корабля Магеллана — «Тринидад» и «Виктория» — начинают кружить по передней части бухты, дожидаясь, пока «Сан-Антонио» и «Консепсьон» вернутся с разведки. Но вся природа, словно возмущаясь тем, что у нее хотят вырвать ее последнюю тайну, еще раз оказывает отчаянное сопротивление. Ветер крепчает, переходит в бурю, затем в неистовый ураган, часто свирепствующий в этих краях. На старинных испанских картах можно видеть предостерегающую надпись: «No hay buenas estaciones» («Здесь нет хороших стоянок»). В мгновение ока бухта вспенивается в беспорядочном, диком вихре, первым же шквалом все якоря срывает с цепей; беззащитные корабли с убранными парусами преданы во власть стихии. Счастье еще, что неослабевающий вихрь не гонит их на прибрежные скалы. Сутки, двое суток длится это страшное бедствие. Но не о собственной участи тревожится Магеллан: оба его корабля, хотя буря треплет и швыряет их, все же находятся в открытой части залива, где их можно удерживать на некотором расстоянии от берега. Но те два — «Сан-Антонио» и «Консепсьон»! Они захвачены бурей во внутренней части бухты, грозный ураган налетел на них в теснине, в узком проходе, где нет возможности ни лавировать, ни бросить якорь, чтобы укрыться. Если не свершилось чудо, они уж давно выброшены на сушу и на тысячи кусков разбились о прибрежные скалы.

Лихорадочное, страшное, нетерпеливое ожидание заполняет эти дни, роковые дни Магеллана. В первый день — никаких вестей. Второй — они не вернулись. Третий, четвер-

тый — их все нет. А Магеллан знает: если оба они потерпели крушение и погибли вместе с командой, тогда все потеряно. С двумя кораблями он не может продолжать путь. Его дело, его мечта разбились об эти скалы.

Наконец возглас с марса. Но — ужас! — не корабли, возвращающиеся на стоянку, увидел дозорный, а столб дыма вдали. Страшная минута! Этот сигнал может означать только одно: потерпевшие крушение моряки взывают о помощи. Значит, погибли «Сан-Антонио» и «Консепсьон» — его лучшие суда, все его дело погибло в этой еще безыменной бухте. Магеллан уже велит спускать шлюпку, чтобы двинуться в глубь залива на помощь тем людям, которых еще можно спасти. Но тут происходит перелом. Это мгновение такого же торжества, как в «Тристане», когда замирающий, скорбный, жалобный мотив смерти в пастушеском рожке внезапно взмывает кверху и перерождается в окрыленную, ликующую, кружащуюся в избытке счастья плясовую мелодию. Парус! Виден корабль! Корабль! Хвала Всевышнему, хоть одно судно спасено! Нет, оба, оба! И «Сан-Антонио» и «Консепсьон», вот они возвращаются, целые и невредимые. Но что это? На бакбортах подплывающих судов вспыхивают огоньки — раз, другой, третий, и горное эхо зычно вторит грому орудий. Что случилось? Почему эти люди, обычно берегущие каждую щепотку пороха, расточают его на многократные салюты? Почему — Магеллан едва верит своим глазам — подняты все вымпелы, все флаги? Почему капитаны и матросы кричат, машут руками? Что их так волнует, о чем они кричат? На расстоянии он еще не может разобрать отдельных слов, никому еще не ясен их смысл. Но все — и прежде всех Магеллан — чувствуют: эти слова возвещают победу.

И правда — корабли несут благословенную весть. С радостно бьющимся сердцем выслушивает Магеллан донесение Серрано. Сначала обоим кораблям пришлось круто. Они зашли уже далеко в глубь бухты, когда разразился этот страшный ураган. Все паруса были тотчас убраны, но бурным течением суда несло все дальше и дальше, гнало в самую глубь залива; уже они готовились к бесславной гибели у скалистых берегов. Но вдруг, в последнюю мину-

ту, заметили, что высящаяся перед ними скалистая гряда не замкнута наглухо, что за одним из утесов, сильно выступающим вперед, открывается узкий проток, подобие канала.

Этим протоком, где буря свирепствовала не так сильно, они прошли в другой залив, как и первый, сначала суживающийся, а затем вновь значительно расширяющийся. Трое суток плыли они, и все не видно было конца этому странному водному пути. Они не достигли выхода из него, но этот необычайный поток ни в коем случае не может быть рекой; вода в нем всюду солоноватая, у берега равномерно чередуются прилив и отлив. Этот таинственный поток не сужается, подобно Ла-Плате, по мере удаления от устья, но, напротив, расширяется. Чем дальше, тем шире стелется полноводный простор, глубина же его остается постоянной. Поэтому более чем вероятно, что этот канал ведет в вожделенное Mar del Sur, берега которого несколько лет назад открылись с панамских высот Нуньесу де Бальбоа, первому европейцу, достигшему этих мест.

Более счастливой вести так много выстрадавший Магеллан не получал за весь последний год. Можно только предполагать, как возликовало его мрачное, ожесточенное сердце при этом обнадеживающем известии! Ведь он уже начал колебаться, уже считался с возможностью возвращения через мыс Доброй Надежды, и никто не знает, какие тайные мольбы и обеты возносил он, преклонив колена, к Богу и его святым угодникам. А теперь, именно в ту минуту, когда его вера начала угасать, заветный замысел становится реальностью, мечта претворяется в жизнь! Теперь ни минуты промедления! Поднять якоря! Распустить паруса! Последний залп в честь короля, последняя молитва покровителю моряков! А затем — отважно вперед, в лабиринт! Если из этих ахеронских вод он найдет выход в другое море — он будет первым, кто нашел путь вокруг Земли! И со всеми четырьмя кораблями Магеллан храбро устремляется в этот пролив, в честь праздника, совпавшего с днем его открытия, названный им проливом Todos los Santos*. Но грядущие поколения благодарно переименуют его в Магелланов пролив.

---

* Всех святых (*исп.*).

Странное, фантастическое это, верно, было зрелище, когда четыре корабля впервые в истории человечества медленно и бесшумно вошли в безмолвный, мрачный пролив, куда испокон веков не проникал человек. Страшное молчание встречает их. Словно магнитные горы, на берегу чернеют холмы, низко нависло покрытое тучами небо, свинцом отливают темные воды; как Харонова ладья на стигийских волнах, тенями среди теней неслышно скользят четыре корабля по этому призрачному миру. Вдали сверкают покрытые снегом вершины, ветер доносит их ледяное дыхание. Ни одного живого существа вокруг, и все же где-то здесь должны быть люди, ибо в ночном мраке полыхают огни, почему Магеллан и назвал этот край Tierra del Fuego — Огненной Землей. Эти никогда не угасающие огни наблюдались и впоследствии, на протяжении веков. Объясняются они тем, что находившимся на самой низкой ступени культуры туземцам стоило большого труда добывать огонь и они день и ночь жгли в своих хижинах сухую траву и сучья. Но ни разу за все это время тоскливо озирающиеся по сторонам мореплаватели не слышат человеческого голоса, не видят людей; когда Магеллан однажды посылает шлюпку с матросами на берег, они не находят там ни жилья, ни следов жизни, а лишь обиталище мертвых, десяток-другой заброшенных могил. Мертво и единственное обнаруженное ими животное — кит, чью исполинскую тушу волны прибили к берегу; лишь за смертью приплыл он сюда, в царство тлена и вечного запустения. Недоуменно вслушиваются люди в эту зловещую тишину. Они словно попали на другую планету, вымершую, выжженную. Только бы вперед! Скорее вперед! И снова, подгоняемые бризом, корабли скользят по мрачным, не ведающим прикосновения киля водам. Опять лот погружается в глубину и опять не достает дна; и опять Магеллан тревожно озирается вокруг: не сомкнутся ли вдали берега, не оборвется ли водная дорога? Однако нет, она тянется дальше и дальше, и все новые признаки возвещают, что этот путь ведет в открытое море. Но еще неведомо, когда этот желанный миг наступит, еще неясен исход. Все дальше и дальше плывут они во тьме киммерийской ночи, напутствуемые непонятным и диким напевом ледяных ветров, завывающих в горах.

Но не только мрачно это плавание — оно и опасно. Открывшийся им путь нимало не похож на тот, воображаемый, прямой, как стрела, пролив, который наивные немецкие космографы — Шенер, а до него Бехайм, — сидя в своих уютных комнатах, наносили на карты. Вообще говоря, называть Магелланов пролив проливом можно только в порядке упрощающего дело эвфемизма. В действительности это запутаннейшее, беспорядочное сплетение излучин и поворотов, бухт, глубоких выемов, фьордов, песчаных банок, отмелей, перекрещивающихся протоков, и только при условии чрезвычайного уменья и величайшей удачи суда могут благополучно пройти через этот лабиринт. Причудливо заостряются и снова ширятся эти бухты, неопределима их глубина, непонятно, как среди них лавировать, — они усеяны островками, испещрены отмелями; поток зачастую разветвляется на три-четыре рукава, то вправо, то влево, и нельзя угадать, какой из них — западный, северный или южный — приведет к желанной цели. Все время приходится избегать мелей, огибать скалы. Встречный ветер внезапными порывами проносится по беспокойному проливу, взвихривая волны, раздирая паруса. Лишь по многочисленным описаниям позднейших путешественников можно понять, почему Магелланов пролив в продолжение столетий внушал морякам ужас. В нем «всегда со всех четырех концов света дует северный ветер», никогда не бывает тихой, солнечной погоды, благоприятствующей мореплаванию, десятками гибнут корабли последующих экспедиций в угрюмом проливе, берега которого и в наше время мало заселены. И то, что Магеллан, первым одолевший этот опасный морской путь, на долгие годы оставался и последним, кому удалось пройти его, не потеряв ни одного из своих кораблей, убедительнее всего доказывает, какого мастерства он достиг в искусстве кораблевождения. Если к тому же учесть, что его неповоротливым кораблям, приводимым в движение только громоздкими парусами да деревянным рулем, приходилось, исследуя сотни артерий и боковых притоков, непрерывно крейсировать туда и обратно и затем снова встречаться в условленном месте, и все это в ненастное время года, с утомленной командой, то счастливое завершение его плавания по это-

му проливу тем более воспринимается как чудо, которое недаром прославляют все поколения мореходов. Но как во всех областях, так и в искусстве кораблевождения подлинным гением Магеллана было его терпение, его неуклонная осторожность и предусмотрительность. Целый месяц проводит он в кропотливых, напряженных поисках. Он не спешит, не стремится вперед, объятый нетерпением, хотя душа его трепетно жаждет наконец-то сыскать проход, увидеть Южное море. Но вновь и вновь, при каждом разветвлении, он делит свою флотилию на две части: каждый раз, когда два корабля исследуют северный рукав, два других стремятся найти южный путь. Словно зная, что ему, рожденному под несчастливой звездой, нельзя полагаться на удачу, этот человек ни разу не предоставляет на волю случая выбор того или другого из многократно пересекающихся протоков, не гадает в чет или нечет. Он испытывает, обследует все пути, чтобы напасть на тот единственный, верный. Итак, наряду с его гениальной фантазией здесь торжествует победу трезвейшее и наиболее характерное из его качеств — героическое упорство.

Победа. Уже преодолены первые теснины залива, уже позади остались и вторые. Магеллан снова у разветвления; ширящийся в этом месте поток раздваивается — и кто может знать, какой из этих рукавов, правый или левый, впадает в открытое море, а какой окажется бесполезным, никуда не ведущим тупиком? И опять Магеллан разделяет свою маленькую флотилию. «Сан-Антонио» и «Консепсьону» поручается исследовать воды в юго-восточном направлении, а сам он на флагманском судне, сопровождаемом «Викторией», идет на юго-запад. Местом встречи, не позднее чем через пять дней, назначается устье небольшой реки, названной рекой Сардин из-за обилия в ней этой рыбы; тщательно разработанные инструкции уже даны капитанам; уже пора бы поднять паруса. Но тут происходит нечто неожиданное, никем из моряков не чаянное: Магеллан призывает всех капитанов на борт флагманского судна, чтобы до начала дальнейших поисков получить от них сведения о наличных запасах продовольствия и выслушать их мнение о том, следует ли

продолжать путь, или же, по успешном окончании разведки, повернуть назад.

«Выслушать их мнение! Что же такое случилось?» — изумленно спрашивают себя моряки. С чего вдруг этот озадачивающий демократический жест? Почему непреклонный диктатор, до того времени ни за кем из своих капитанов не признававший права предлагать вопросы или критиковать его мероприятия, именно теперь, по поводу незначительного маневра, превращает своих офицеров из подчиненных в равных себе? На самом деле этот резкий поворот как нельзя более логичен. После окончательного триумфа диктатору всегда легче дозволить гуманности вступить в свои права и легче допустить свободу слова тогда, когда его могущество упрочено. Сейчас, поскольку paso, estrecho уже найден, Магеллану не приходится больше опасаться вопросов. Козырь в его руках — он может пойти навстречу желанию своих спутников и раскрыть перед ними карты. Действовать справедливо в удаче всегда легче, чем в несчастье. Вот почему этот суровый, угрюмый, замкнутый человек наконец-то, наконец нарушает свое упорное молчание, разжимает крепко стиснутые челюсти. Теперь, когда его тайна перестала быть тайной, когда покров с нее сорван, Магеллан может стать общительным.

Капитаны являются и рапортуют о состоянии вверенных им судов. Но сведения малоутешительны. Запасы угрожающим образом уменьшились, провианта каждому из судов хватит в лучшем случае на три месяца. Магеллан берет слово. «Теперь уже не подлежит сомнению, — твердо заявляет он, — что первая из целей достигнута, paso — проход в Южное море — уже можно считать открытым». Он просит капитанов с полной откровенностью сказать, следует ли флотилии удовольствоваться этим успехом или же стараться довершить то, что он, Магеллан, обещал императору: достичь «Островов пряностей» и отвоевать их для Испании. Разумеется, он понимает, что провианта осталось немного, а в дальнейшем им еще предстоят великие трудности. Но не менее велики слава и богатства, ожидающие их по счастливом завершении дела. Его мужество непоколебимо. Однако прежде чем принять окончательное решение — возвращаться ли на родину

или доблестно завершить задачу, он хотел бы узнать, какого мнения держатся его офицеры.

Ответы капитанов и кормчих не дошли до нас, но можно с уверенностью предположить, что они не отличались многословием. Слишком памятны им и бухта Сан-Хулиан, и четвертованные трупы их товарищей-испанцев; они по-прежнему остерегаются прекословить суровому португальцу. Только один из них резко и прямо высказывает свои сомнения — кормчий «Сан-Антонио», Эстевао Гомес, португалец и, возможно, даже родственник Магеллана. Гомес прямо заявляет, что теперь, когда paso, очевидно, уже найден, разумнее будет вернуться в Испанию, а затем уже на снаряженных заново кораблях вторично следовать по открытому ныне проливу к Молуккским островам, ибо суда флотилии, по его мнению, слишком обветшали, запасов провианта недостаточно, а никому не ведомо, как далеко простирается за открытым ныне проливом новое, неисследованное Южное море. Если они в этих неведомых водах пойдут по неверному пути и будут скитаться, не находя гавани, флотилию ожидает мучительная гибель.

Разум говорит устами Эстевао Гомеса, и Пигафетта, всегда заранее подозревавший в низменных побуждениях каждого, кто был не согласен с Магелланом, вероятно, несправедлив к бывалому моряку, приписывая его сомнения всякого рода неблаговидным мотивам. Действительно, предложение Гомеса — с честью вернуться на родину, а затем на судах новой флотилии устремиться к намеченной цели — правильно как с логической, так и с объективной точки зрения: оно спасло бы и жизнь самого Магеллана, и жизни почти двух сотен моряков. Но не бренная жизнь важна Магеллану, а бессмертный подвиг. Тот, кто мыслит героически, неизбежно должен действовать наперекор рассудку. Магеллан, не колеблясь, берет слово для возражения Гомесу. Разумеется, им предстоят великие трудности, по всей вероятности, им придется претерпевать голод и множество лишений, но — примечательные, пророческие слова! — даже если бы им пришлось глодать кожу, которой обшиты снасти, он считает себя обязанным продолжать плавание к стране, которую обещал открыть. «De pasar adelante y descubrir lo que habia

prometido»*. Этим призывом к смелому устремлению в неизвестность, невидимому, закончилось психологически столь своеобразное совещание, и от корабля к кораблю немедленно передается Магелланов приказ продолжать путь. Втайне, однако, Магеллан предписывает своим капитанам тщательнейшим образом скрывать от команды, что запасы провианта на исходе. Каждый, кто позволит себе хотя бы туманный намек на это обстоятельство, подлежит смертной казни.

Молча выслушали капитаны приказ, и вскоре корабли, которым поручена разведка восточного ответвления пути — «Сан-Антонио» под начальством Альваро де Мескита и «Консепсьон» под водительством Серрано, — исчезают в лабиринте излучин и поворотов. Два других — флагманский корабль Магеллана «Тринидад» и «Виктория» — тем временем остаются на удобной стоянке. Они бросают якоря в устье реки Сардин, и Магеллан, вместо того чтобы самолично исследовать западный рукав, поручает небольшой шлюпке произвести предварительную рекогносцировку. В этой защищенной от бурь части канала суда не подвергаются опасности; Магеллан велит посланным на разведку кораблям вернуться не позднее чем через три дня; таким образом, экипажам двух других судов эти три дня до возвращения «Консепсьона» и «Сан-Антонио» предоставлены для полного отдыха.

И впрямь хороший отдых выпадает на долю Магеллана и его людей в этой уже менее суровой местности. Странное явление — за последние дни, по мере того как они продвигались на запад, ландшафт становился более приветливым: вместо отвесных голых скал пролив окаймляют луга и леса. Холмы здесь не так обрывисты, покрытые снегом вершины отодвинулись вдаль. Мягче стал воздух; матросы, утолявшие жажду вонючей, затхлой водой из бочонков, наслаждаются студеной влагой родников. Они то нежатся на траве, лениво следя глазами за диковинными летучими рыбами, то с увлечением занимаются ловлей сардин, которых здесь неимоверное множество. Вдобавок тут столько вкусных плодов, что они впервые за несколько месяцев наедаются досыта. Так

* Идти вперед и открыть то, что обещал (*исп.*).

прекрасна, так ласкова окружающая природа, что Пигафетта восторженно восклицает: «Credo che non sia al mondo un piú bello e miglior stretto, como é questo!»*

Но что значит отрада, доставляемая благоприятной местностью, отдыхом, беспечной негой, в сравнении с тем великим, огненным, окрыляющим счастьем, которое предстоит познать Магеллану! Оно уже ощутимо, уже чувствуется его приближение; и вот на третий день, послушная приказу, возвращается отправленная им шлюпка, и снова моряки уже издали машут руками, как тогда, в день Всех Святых, когда был открыт вход в пролив. Но теперь — а это в тысячу раз важнее! — они нашли наконец выход из него. Собственными глазами видели они море, в которое впадает этот пролив — Mar del Sur, — великое, неведомое море! «Таласса! Таласса!»** — древний клич восторга, которым греки, возвращаясь из бесконечных странствий, приветствовали вечные воды, он раздается здесь вновь, на ином языке, но с тем же восторгом; победоносно возносится он в высь, никогда еще не оглашавшуюся звуками ликующего человеческого голоса.

Этот краткий миг — великая минута в жизни Магеллана, минута подлинного, высшего восторга, только однажды даруемая человеку. Все сбылось. Он сдержал слово, данное императору. Он, он первый и единственный осуществил то, о чем до него мечтали тысячи людей: он нашел путь в другое, неведомое море. Это мгновение оправдывает всю его жизнь и дарует ему бессмертие.

И тут происходит то, чего никто не осмелился бы предположить в этом мрачном, замкнутом в себе человеке. Внезапно сурового воина, никогда и ни перед кем не выказывавшего своих чувств, одолевает тепло, хлынувшее из недр души. Его глаза туманятся, слезы, горячие, жгучие слезы катятся на темную, всклокоченную бороду. Первый и единственный раз в жизни этот железный человек — Магеллан — плачет от радости («Il capitano-generale lacrimó per allegrezza»***).

---

* Думается мне, что нет на свете более прекрасного и лучшего пролива, чем этот! (*ит.*)

** Море! Море! *(греч.)*

*** Адмирал от радости заплакал (*ит.*).

Одно мгновение, одно-единственное краткое мгновение за всю его мрачную, многострадальную жизнь дано было Магеллану испытать высшее блаженство, даруемое творческому гению: увидеть свой замысел осуществленным. Но судьбой этому человеку назначено за каждую крупицу счастья горестно расплачиваться. Каждая из его побед неизменно сопряжена с разочарованием. Ему дано только взглянуть на счастье, но не дано обнять, удержать его, и даже этот единственный, краткий миг восторга, прекраснейший в его жизни, канет в прошлое, прежде чем Магеллан успеет до конца его прочувствовать. Где же два других корабля? Почему они медлят? Ведь теперь, когда эта шлюпка нашла выход в море, всякие дальнейшие поиски становятся бесцельной тратой времени. Ах, если б они уже вернулись из разведки, «Сан-Антонио» и «Консепсьон», чтобы услышать эту радостную весть! Если б они наконец вернулись! Все нетерпеливее и тревожнее вглядывается Магеллан в туманную даль залива. Давно уже прошел условленный срок. Вот уже и пятый день миновал, а о них ни слуху ни духу.

Уж не случилось ли несчастье? Не сбились ли они с пути? Магеллан слишком встревожен, чтобы праздно дожидаться в условленном месте. Он велит поставить паруса и идет к проливу, навстречу замешкавшимся судам. Но пустынен, по-прежнему пустынен горизонт, пустынны мрачные, безжизненные воды.

Наконец на второй день поисков вдали показывается парус. Это «Консепсьон» под началом верного Серрано. Но где же второй корабль, самый крупный из всех судов флотилии, где «Сан-Антонио»? Серрано ничего не может сообщить адмиралу. В первый же день «Сан-Антонио» ушел вперед и с тех пор бесследно исчез. Вначале Магеллан не предполагает беды. Быть может, «Сан-Антонио» заблудился или же его капитан неправильно понял, где назначена встреча. Он рассылает суда флотилии в разные стороны, чтобы обшарить все закоулки главного протока «Адмиральского Зунда». Он велит сигнализировать огнями, на высоких столбах водружает флаги, а у подножья их оставляет письма с инструкциями — на всякий случай, если пропавшее судно заблудилось. Но нигде никаких следов «Сан-Антонио». Уже очевидно,

что стряслась какая-то беда. Корабль либо потерпел крушение и погиб вместе с командой и грузом, что, однако, маловероятно, так как в эти дни погода стояла на редкость безветренная, либо — предположение более верное — кормчий «Сан-Антонио», Эстевао Гомес, требовавший на военном совете немедленного возвращения на родину, стал мятежником и осуществил свое требование: сообща с офицерами-испанцами сместил преданного капитана и дезертировал, забрав с собой весь провиант.

В тот день Магеллан не может знать, что именно случилось. Он знает только, что случилось нечто страшное. Исчез корабль — самый крупный, лучший из всех, обильнее других снабженный провиантом. Но куда он девался, что с ним произошло, какие события разыгрались на нем? В этой беспредельной мертвой пустыне никто не даст ему ответа, покоится ли судно на дне или дезертировало, поспешно взяв курс на Испанию. Только неведомое раньше созвездие — Южный Крест, окруженный ярко сияющими спутниками, — свидетель таинственных событий. Только звездам известен путь «Сан-Антонио», только они могли бы дать ответ Магеллану. Вполне естественно поэтому, что Магеллан, как и все люди его времени считавший астрологию подлинной наукой, призвал к себе сопровождавшего флотилию вместо Фалейру астролога и астронома Андреса де Сан-Мартина, единственного, кто, быть может, по звездам сумеет узнать правду. Он велит Мартину составить гороскоп и при помощи своего искусства выяснить, что произошло с «Сан-Антонио», и, в виде исключения, астрология дает правильный ответ: бравый звездочет, хорошо помнящий независимое поведение Эстевао Гомеса на совете, заявляет — и факты подтвердят его слова, — что «Сан-Антонио» уведен дезертирами, а его капитан заключен в оковы.

Снова, в последний раз, перед Магелланом встает необходимость безотлагательного решения. Слишком рано возликовал он, слишком легковерно отдался радости. Теперь — удивительный параллелизм первого и второго кругосветного плавания — его постигло то же, что постигнет его продолжателя, Фрэнсиса Дрейка, лучший корабль которого также был тайно уведен мятежным капитаном Уинтером. На пол-

пути к победе соотечественник и родич Магеллана, став врагом, нанес коварный удар из-за угла. Если запасы провианта и прежде были скудны, то сейчас флотилии угрожает голод. Именно на «Сан-Антонио» хранились лучшие припасы, притом в наибольшем количестве. Да и за шесть дней, ушедших на бесплодное ожидание и поиски, тоже было израсходовано немало провианта. Наступление на неведомое Южное море уже неделю назад, при несравненно более благоприятных обстоятельствах, было дерзновеннейшим предприятием. Теперь, после измены «Сан-Антонио», оно становится едва ли не равносильным самоубийству.

С вершин горделивой уверенности Магеллан снова одним ударом низринут в предельные глубины смятения. И не нужно даже показаний Барруша: «Quedó tan confuso que no sabia lo que habia de determinar» («Он настолько растерялся, что не знал, на что решиться»); внутреннюю тревогу Магеллана мы отчетливо видим из его приказа, в эту минуту смятения объявленного всем офицерам флотилии, — единственного сохранившегося приказа. На протяжении нескольких дней он вторично опрашивает их: продолжать путь или вернуться? Но на этот раз он велит капитанам ответить письменно. Ибо Магеллан — и это свидетельствует о выдающейся его прозорливости — хочет иметь оправдательный документ. Scripta manent*: ему нужно запастись на будущее неопровержимым письменным доказательством того, что он советовался со своими капитанами. Он понимает — и это тоже впоследствии подтвердится фактами, — что бунтовщики на «Сан-Антонио» по прибытии в Севилью тотчас поспешат стать обвинителями против него, чтобы самим избегнуть обвинения в мятеже. Разумеется, они изобразят его тираном, они станут умышленно разжигать национальное чувство испанцев преувеличенными описаниями того, как пришлый португалец велел заключить в оковы назначенных королем чиновников, как по его приказу одни из кастильских дворян были обезглавлены и четвертованы, другие обречены на мучительную голодную смерть, — и все это, чтобы, вопреки королевскому приказу, предать флотилию в руки порту-

* Написанное остается (*лат.*).

гальцев. Желая заранее опровергнуть неизбежное обвинение в том, что он во все время плавания жестоким террором подавлял любое свободное высказывание своих офицеров, Магеллан издает теперь свой необычайный приказ, который кажется скорее попыткой обелить себя, нежели товарищеским обращением к капитанам.

«Дано в проливе Всех Святых, насупротив реки, что на островке, 21 ноября, — этими словами начинается приказ, далее гласящий: — Я, Фердинанд Магеллан, кавалер ордена Сант-Яго и адмирал этой армады, осведомлен о том, что всем вам решение продолжать путь представляется весьма рискованным, ибо вы считаете, что время года слишком уже позднее. Я же никогда не пренебрегал мнением и советом других людей, а, напротив, все свои начинания хочу обсуждать и проводить совместно со всеми».

Наверно, офицеры молча усмехаются, читая это странное утверждение. Ведь отличительная черта Магеллана — его непреклонное самовластие в управлении и руководстве. Слишком хорошо все они помнят, как этот человек железной рукой пресек протест своих капитанов. Но Магеллан, зная, насколько им должна быть памятна его нещадная расправа с инакомыслящими, продолжает: «Итак, пусть не внушают никому опасений совершившиеся в бухте Сан-Хулиан события; каждый из вас обязан безбоязненно сказать мне, каково его мнение о способности нашей армады продолжать плавание. Нарушением вашей присяги и вашего долга было бы, если б вы вознамерились скрыть от меня ваше суждение». Он требует, чтобы каждый в отдельности (cada uno de por si) ясно, притом в письменной форме (por escrito), высказался о том, следует ли продолжать путь или возвратиться, и изложил бы все свои соображения на этот счет.

Но за один час не вернуть доверие, утраченное уже много месяцев назад. Еще слишком запуганы офицеры, чтобы со всей прямотой требовать возвращения на родину, и единственный дошедший до нас ответ — ответ астролога Сан-Мартина — показывает, как мало они были склонны именно теперь, когда ответственность возросла до гигантских размеров, делить ее с Магелланом. Почтенный астролог, как это и приличествует лицу его профессии, выражается дву-

смысленно и туманно, искусно жонглируя всякими оговорками: «с одной стороны, надобно», а «с другой стороны, не следует». Он, мол, сомневается в том, чтобы можно было через канал Всех Святых пробраться к Молуккским островам (aunque yo dudo que hay camino para poder navigar a Maluco por este canal), но тут же советует продолжать путь, ибо «сердце весны в наших руках». С другой стороны, все же не следует забираться слишком далеко, ведь люди изнурены и обессилены. Быть может, разумнее будет взять курс не на запад, а на восток, но пусть Магеллан действует так, как считает правильным, и да укажет ему Господь верный путь. По всей вероятности, остальные офицеры высказались столь же неопределенно.

Но Магеллан опросил своих офицеров отнюдь не за тем, чтобы считаться с их ответами, а только чтобы доказать впоследствии, что такой опрос был произведен. Он знает: слишком далеко он зашел, чтобы, повернуть вспять. Только триумфатором может он вернуться — иначе он погиб. И даже если бы велеречивый астролог предсказал ему смерть, он все равно не оборвал бы свое героическое продвижение вперед. 22 ноября 1520 года суда по его приказанию выходят из устья реки Сардин; спустя немного дней Магелланов пролив — ибо так будет он называться в веках — пройден, и в конце его, за мысом, который Магеллан в знак благодарности назвал Cabo Deseado, Желанный мыс, открывается беспредельное новое море, еще неведомое европейским кораблям. Потрясающее зрелище! Там, на западе, за нескончаемой линией горизонта должны находиться «Острова пряностей», острова несметных богатств, а за ними исполинские государства Востока — Китай, Япония, Индия, — а еще дальше, в необозримой шири — родина, Испания, Европа! Поэтому еще раз дается отдых, последний отдых перед вторжением в чуждый, за все время существования мира не пересеченный кораблями океан!

И вот 28 ноября 1520 года выбраны якоря, взвились флаги! Громовым орудийным залпом три маленьких одиноких корабля салютуют неведомому морю. Так рыцарь приветствует доблестного противника, с которым ему предстоит сразиться не на жизнь, а на смерть.

Магеллан открывает свое королевство

28 ноября 1520 года — 7 апреля 1521 года

Историю первого плавания по безыменному еще океану, «по морю, столь огромному, что ум человеческий не в силах объять его», как говорится в записках Максимилиана Трансильванского, — это история одного из бессмертных подвигов человечества.

Уже отплытие Колумба в безбрежный простор воспринималось в его время, да и во все последующие времена, как беспримерно отважное деяние. Но даже этот подвиг, хотя бы по числу жертв, ему принесенных, нельзя приравнять к победе, которую Магеллан ценою неслыханных лишений одержал над стихией. Ведь Колумб со своими тремя только что спущенными на воду, заново оснащенными, хорошо снабженными продовольствием судами в общей сложности пробыл в пути всего тридцать три дня, и еще за неделю до того, как ступить на землю, носившийся на гребнях волн тростник, плывущие по воде стволы невиданных деревьев и лесные птицы утвердили его в предположении, что вблизи находится какой-то материк. Экипаж Колумба состоит из здоровых, неутомленных людей, корабли так обильно снабжены провиантом, что в крайности он может, и не достигнув цели, благополучно вернуться на родину. Только *перед*

ним расстилается неизвестность, но *позади* него — надежное прибежище и пристанище: родина. Магеллан же устремляется в неведомое, и не из родной Европы, не с насиженного места плывет он туда, а из чужой, суровой Патагонии. Его люди изнурены многими месяцами жестоких бедствий. Голод и лишения оставляют они позади себя, голод и лишения сопутствуют им, голод и лишения грозят им в будущем. Изношена их одежда, в клочья изодраны паруса, истерты канаты. Месяцами не видели они ни одного нового лица, месяцами не видели женщин, вина, свежего мяса, свежего хлеба, и втайне они, пожалуй, завидуют более решительным товарищам, вовремя дезертировавшим и повернувшим домой, вместо того чтобы скитаться по необъятной водной пустыне. Так плывут эти корабли — двадцать дней, тридцать дней, сорок, пятьдесят, шестьдесят дней, — и все еще не видно земли, все еще никаких признаков ее приближения! И снова проходит неделя, за ней еще одна, и еще, и еще — сто дней, срок, трижды более долгий, чем тот, в который Колумб пересек океан! Тысячи и тысячи пустых часов плывет флотилия Магеллана среди беспредельной пустоты. С 28 ноября, дня, когда Cabo Deseado — Желанный мыс исчез в тумане, нет больше ни карт, ни измерений. Ошибочными оказались все расчеты расстояний, произведенные там, на родине, Руй Фалейру. Магеллан считает, что давно уже миновал Ципангу — Японию, а на деле пройдена только треть неведомого океана, которому он, из-за царящего в нем безветрия, навеки нарекает имя il Pacifico — Тихий.

Но как мучительна эта тишина, какая страшная пытка это вечное однообразие среди мертвого молчания! Все та же синяя зеркальная гладь, все тот же безоблачный, знойный небосвод, все то же безмолвие, тот же дремлющий воздух, все тем же ровным полукругом тянется горизонт — металлическая полоска между все тем же небом и все той же водой, мало-помалу больно врезающаяся в сердце. Все та же необъятная синяя пустота вокруг трех утлых суденышек — единственных движущихся точек среди гнетущей неподвижности, все тот же нестерпимо яркий дневной свет, в сиянье которого неизменно видишь все одно и то же, и каждую ночь все те же холодные, безмолвные, тщетно вопрошаемые звез-

ды. И вокруг все те же предметы в тесном, переполненном людьми помещении — те же паруса, те же мачты, та же палуба, тот же якорь, те же пушки, те же столбы; все тот же приторный, удушливый смрад, источаемый гниющими припасами, поднимается из корабельного чрева. Утром, днем, вечером и ночью — всегда неизбежно встречают друг друга все те же искаженные тупым отчаянием лица, с тою лишь разницей, что с каждым днем они становятся все более изможденными. Глаза глубже уходят в орбиты, блеск их тускнеет, с каждым безрадостным утром все больше впадают щеки, все более медленной и вялой становится походка. Словно призраки, мертвенно-бледные, исхудалые, бродят эти люди, еще несколько месяцев назад бывшие крепкими, здоровыми парнями, которые так проворно взбирались по вантам, в любую непогоду крепили реи. Как тяжелобольные, шатаясь, ходят они по палубе или в изнеможении лежат на своих циновках. На каждом из трех кораблей, вышедших в море для свершения одного из величайших подвигов человечества, теперь обитают существа, в которых лишь с трудом можно признать матросов; каждая палуба — плавучий лазарет, кочующая больница.

Катастрофически уменьшаются запасы во время этого непредвиденно долгого плавания, непомерно растет нужда. То, чем баталер ежедневно оделяет команду, давно уже напоминает скорее навоз, чем пищу. Без остатка израсходовано вино, хоть немного освежавшее губы и подбадривавшее дух. А пресная вода, согретая беспощадным солнцем, протухшая в грязных мехах и бочонках, издает такое зловоние, что несчастные вынуждены пальцами зажимать нос, увлажняя пересохшее горло тем единственным глотком, что причитается им на весь день. Сухари — наряду с рыбой, наловленной в пути, единственная их пища — давно уже превратились в кишащую червями серую, грязную труху, вдобавок загаженную испражнениями крыс, которые, обезумев от голода, набросились на эти последние жалкие остатки продовольствия. Тем яростнее охотятся за этими отвратительными животными, и, когда моряки с остервенением преследуют по всем углам и закоулкам этих разбойников, пожирающих остатки их скудной пищи, они стремятся не только истре-

бить их, но и продать затем эту падаль, считающуюся изысканным блюдом: полдуката золотом уплачивают ловкому охотнику, сумевшему поймать одного из отчаянно пищащих грызунов, и счастливый покупатель с жадностью уписывает омерзительное жаркое. Чтобы хоть чем-нибудь наполнить судорожно сжимающийся, требующий пищи желудок, чтобы хоть как-нибудь утолить мучительный голод, матросы пускаются на опасный самообман: собирают опилки и примешивают их к сухарной трухе, мнимо увеличивая таким образом скудный рацион. Наконец голод становится чудовищным: сбывается страшное предсказание Магеллана о том, что придется есть воловью кожу, предохраняющую снасти от перетирания; у Пигафетты мы находим описание способа, к которому в безмерном своем отчаянии прибегали изголодавшиеся люди, чтобы даже эту несъедобную пищу сделать съедобной. «Наконец, дабы не умереть с голоду, мы стали есть куски воловьей кожи, которою, с целью предохранить канаты от перетирания, была обшита большая рея. Под долгим действием дождя, солнца и ветра эта кожа стала твердой, как камень, и нам приходилось каждый кусок вывешивать за борт на четыре или пять дней, дабы хоть немного ее размягчить. Лишь после этого мы слегка поджаривали ее на угольях и в таком виде поглощали».

Не удивительно, что даже самые выносливые из этих закаленных, привыкших к мытарствам людей не в состоянии долго переносить такие лишения. Из-за отсутствия доброкачественной (мы сказали бы теперь «витаминозной») пищи среди команды распространяется цинга. Десны у заболевших сначала пухнут, потом начинают кровоточить, зубы шатаются и выпадают, во рту образуются нарывы, наконец зев так болезненно распухает, что несчастные, даже если б у них была пища, уже не могли бы ее проглотить: они погибают мучительной смертью. Но и у тех, кто остается в живых, голод отнимает последние силы. Едва держась на распухших одеревенелых ногах, как тени бродят они, опираясь на палки, или лежат, прикорнув в каком-нибудь углу. Не меньше девятнадцати человек, то есть около десятой части всей оставшейся команды, в муках погибают во время этого голодного плавания. Одним из первых

умирает несчастный, прозванный матросами Хуаном-Гигантом, патагонский великан, еще несколько месяцев назад восхищавший всех тем, что за один присест съедал полкорзинки сухарей и залпом, как чарку, опорожнял ведро воды. С каждым днем нескончаемого плавания число работоспособных матросов уменьшается, и правильно отмечает Пигафетта, что при столь ослабленной живой силе три судна не могли бы выдержать ни бури, ни ненастья. «И если бы Господь и его Святая Матерь не послали нам столь благоприятной погоды, мы все погибли бы от голода среди этого необъятного моря».

Три месяца и двадцать дней блуждает в общей сложности одинокий, состоящий из трех судов караван по водной пустыне, претерпевая все страдания, какие только можно вообразить, и даже самая страшная из всех мук, мука обманутой надежды, и та становится его уделом. Как в пустыне изнывающим от жажды людям мерещится оазис: уже колышутся зеленые пальмы, уже прохладная голубая тень стелется по земле, смягчая яркий ядовитый свет, много дней подряд слепящий их глаза, уже чудится им журчанье ручья — но едва только они, напрягая последние силы, шатаясь из стороны в сторону, устремляются вперед, видение исчезает, и вокруг них снова пустыня, еще более враждебная, — так и люди Магеллана становятся жертвами фата-морганы. Однажды утром с марса доносится хриплый возглас: дозорный увидел землю, остров, впервые за томительно долгое время увидел сушу. Как безумные, кидаются на палубу все эти умирающие от голода, погибающие от жажды люди; даже больные, словно брошенные мешки валявшиеся где попало, и те, едва держась на ногах, выползают из своих нор. Правда, правда, они приближаются к острову. Скорее, скорее в шлюпки! Распаленное воображение рисует им прозрачные родники, им грезится вода и блаженный отдых в тени деревьев после стольких недель непрерывных скитаний, они алчут наконец ощутить под ногами землю, а не только зыбкие доски на зыбких волнах. Но страшный обман! Приблизившись к острову, они видят, что он, так же как и расположенный неподалеку второй — ожесточившиеся моряки дают

им название Islas desaventuradas*, — оказывается совершенно голым, безлюдным, бесплодным утесом, пустыней, где нет ни людей, ни животных, ни воды, ни растений. Напрасной тратой времени было бы хоть на один день пристать к этой угрюмой скале. И снова продолжают они путь по синей водной пустыне, все вперед и вперед; день за днем, неделю за неделей длится это, быть может, самое страшное и мучительное плавание из всех, отмеченных в извечной летописи человеческих страданий и человеческой стойкости, которую мы именуем историей.

Наконец 6 марта 1521 года — уже более чем сто раз вставало солнце над пустынной, недвижной синевой, более ста раз исчезало оно в той же пустынной, недвижной, беспощадной синеве, сто раз день сменялся ночью, а ночь днем, с тех пор как флотилия из Магелланова пролива вышла в открытое море, — снова раздается возглас с марса: «Земля! Земля!» Пора ему прозвучать, и как пора! Еще двое, еще трое суток среди пустоты — и, верно, никогда бы и следа этого геройского подвига не дошло до потомства. Корабли с погибшим голодной смертью экипажем, плавучее кладбище, блуждали бы по воле ветра, покуда волны не поглотили бы их или не выбросили на скалы. Но этот новый остров — хвала Всевышнему! — он населен, на нем найдется вода для погибающих от жажды. Флотилия еще только приближается к заливу, еще паруса не убраны, еще не спущены якоря, а к ней с изумительным проворством уже подплывают «кану» — маленькие, пестро размалеванные челны, паруса которых сшиты из пальмовых листьев. С обезьяньей ловкостью карабкаются на борт голые простодушные дети природы, и настолько чуждо им понятие каких-либо моральных условностей, что они попросту присваивают себе все, что им попадается на глаза. В мгновение ока самые различные вещи исчезают, словно в шляпе искусного фокусника; даже шлюпка «Тринидада» оказывается срезанной с буксирного каната. Беспечно, нимало не смущаясь моральной стороной своих поступков, радуясь, что им так легко достались такие дико-

* Злосчастные острова (*исп.*).

винки, спешат они к берегу со своей бесценной добычей. Этим простодушным язычникам кажется столь же естественным и нормальным засунуть две-три блестящие безделушки себе в волосы — у голых людей карманов не бывает, — как естественным и нормальным кажется испанцам, папе и императору заранее объявить законной собственностью христианнейшего монарха все эти еще не открытые острова вместе с населяющими их людьми и животными.

Магеллану, в его тяжелом положении, трудно было снисходительно отнестись к захвату, произведенному без предъявления каких-либо императорских или папских грамот. Он не может оставить в руках ловких грабителей эту шлюпку, которая еще в Севилье (как видно из сохранившегося в архивах счета) стоила три тысячи девятьсот тридцать семь с половиной мараведисов, а здесь, за тысячи миль от родины, представляет собой бесценное сокровище. На следующий же день он отправляет на берег сорок вооруженных матросов отобрать шлюпку и основательно проучить вороватых туземцев. Матросы сжигают несколько хижин, но до настоящей битвы дело не доходит, ибо бедные островитяне так невежественны в искусстве убивать, что, даже когда стрелы испанцев вонзаются в их кровоточащие тела, они не понимают, каким образом эти острые, оперенные, издалека летящие палочки могут так глубоко войти в тело и причинить такую нестерпимую боль. В ужасе пытаются они вытащить стрелы, тщетно дергая за торчащий наружу конец, а затем в смятении убегают от страшных белых варваров обратно в свои леса. Теперь изголодавшиеся испанцы могут наконец раздобыть воды для истомленных жаждой больных и основательно поживиться съестным. С неимоверной поспешностью тащат они из покинутых туземцами хижин все, что попадается под руку: кур, свиней, всевозможные плоды, а после того, как они друг друга обокрали — сначала островитяне испанцев, потом испанцы островитян — цивилизованные грабители в посрамление туземцев на веки вечные присваивают этим островам позорное наименование Разбойничьих (Ладронских)*.

---

* Ladrone — разбойник (*ит.*); ныне — Марианские острова.

Как бы там ни было, этот налет спасает погибающих от голода людей. Три дня отдыха, захваченный в изобилии провиант — плоды и свежее мясо, да еще чистая, живительная ключевая вода подкрепили команду. В дальнейшем плавании от истощения умирает еще несколько человек, среди них единственный бывший на борту англичанин, а несколько десятков матросов по-прежнему лежат, обессиленные болезнью. Но самое страшное миновало, и, набравшись мужества, они снова устремляются на запад. Когда неделю спустя, 17 марта, вдали опять вырисовывается остров, а рядом с ним второй — Магеллан уже знает, что судьба сжалилась над ними. По его расчетам это должны быть Молуккские острова. Восторг! Ликование! Он у цели! Но даже пламенное нетерпение поскорее удостовериться в своем торжестве не делает этого человека опрометчивым или неосторожным. Он не бросает якорь у Сулуана[77], большего из двух этих островов, а избирает меньший, Пигафеттой называемый Хумуну[78].

Магеллан, ввиду большого количества больных среди команды, предпочитает избегать встреч с туземцами. Сперва надо подправить людей, а потом уже вступать в переговоры или в бой. Больных сносят на берег, поят ключевой водой, для них закалывают одну из свиней, похищенных на Разбойничьих островах. Сначала — полный отдых, никаких рискованных предприятий. На другой же день с большого острова доверчиво приближается лодка с приветливо машущими туземцами; они привозят невиданные плоды, и бравый Пигафетта не может ими нахвалиться: это бананы и кокосовые орехи, молочный сок которых живительно действует на больных. Завязывается оживленный торг. В обмен на две-три побрякушки или яркие бусины изголодавшиеся моряки получают рыбу, кур, пальмовое вино, всевозможные плоды и овощи. Впервые за долгие недели и месяцы все они, больные и здоровые, наедаются досыта.

В первом порыве восторга Магеллан решил, что подлинная цель его путешествия — Islas de la especŕeria — «Острова пряностей» — уже достигнута. Но оказывается, что не у Молуккских островов он бросил якорь, ведь в противном случае невольник Энрике мог бы, должен был бы понять язык туземцев. Но это не его соплеменники, и, зна-

чит, в другую страну, на другой архипелаг завел их случай. Опять расчеты Магеллана, побудившие его взять курс по Тихому океану на десять градусов севернее, чем следовало, оказались неправильными, и опять его заблуждение привело к открытию. Именно вследствие своего ошибочного, слишком далеко отклонявшегося к северу курса Магеллан вместо Молуккских достиг группы никому не известных островов, попал на архипелаг, о существовании которого до той поры никогда не упоминал и даже не подозревал ни один европеец. В поисках Молуккских островов Магеллан открыл Филиппинские[79], а тем самым приобрел для императора Карла новую провинцию, которая, кстати сказать, дольше всех других, открытых и завоеванных Колумбом, Кортесом, Писарро, останется во владении испанской короны. Но и для себя самого Магеллан этим нежданным открытием приобрел государство: ибо согласно договору, в случае если он откроет более шести островов, два из них предоставляются во владение ему и Руй Фалейру. За одну ночь вчерашний нищий, искатель приключений, desperado, уже находившийся на краю гибели, превратился в adelantado собственной страны, в пожизненного и на веки вечные наследственного участника всех прибылей, какие будут извлекаться из этих новых колоний, а следовательно, и в одного из богатейших людей на свете.

Великий день, чудесный поворот судьбы после сотен мрачных и бесплодных дней! Не менее, чем обильная, свежая и здоровая пища, которую туземцы ежедневно привозят с Сулуана в импровизированный лазарет, живит больных и целебный эликсир — сознание безопасности. За девять дней тщательного ухода на этом тихом тропическом острове почти все больные выздоравливают, и Магеллан уже может начать подготовку к обследованию соседнего острова — Массавы[80]. Правда, в последнюю минуту досадная случайность едва не омрачила радости наконец-то осчастливленного судьбой Магеллана. Увлекшись ужением рыбы, его друг и историограф Пигафетта перегнулся и упал за борт, причем никто не заметил его падения. Так чуть было не канула в воду история кругосветного плавания, ибо бедняга Пигафетта, по-видимому, не умел плавать и уж совсем было

собрался тонуть. По счастью, в последнюю минуту он ухватился за свисавший с корабля канат и поднял отчаянный крик, после чего столь незаменимый для нас летописец был немедленно водворен на борт.

Весело ставят на этот раз паруса. Все знают: страшный огромный океан пересечен, уж больше не удручает, не гнетет его зловещая пустынность; всего несколько часов, несколько дней предстоит им еще пробыть в плавании, ведь уж и теперь они то и дело видят справа и слева туманные очертания неведомых островов. Наконец на четвертый день, 28 марта, в Страстной четверг, флотилия бросает якорь у Массавы, чтобы еще раз сделать привал перед последним пробегом, который приведет их к так долго и тщетно разыскиваемой цели.

На Массаве, крохотном, безвестном островке Филиппинского архипелага, найти который на обычной карте можно только с помощью увеличительного стекла, Магеллан снова переживает один из великих драматических моментов своей жизни: в мрачном и трудном его существовании всегда вспыхивают, как взвивающееся к небу пламя, такие, в одной секунде сконцентрированные, мгновения счастья, своей опьяняющей мощью щедро воздающие за упорное, трудное, стойкое долготерпение несметных часов одиночества и тревоги. Внешний повод на этот раз малозаметен.

Едва только три больших чужеземных корабля с раздувающимися парусами приближаются к Массаве, как на берег толпами сбегаются островитяне, с любопытством, дружелюбно поджидающие вновь прибывших. Но прежде чем самому ступить на берег, Магеллан, осторожности ради, посылает в качестве посредника своего раба Энрике, резонно полагая, что туземцы к человеку с темной кожей отнесутся доверчивей, чем к кому-либо из бородатых, диковинно одетых и вооруженных белых людей.

И тут происходит неожиданное. Болтая и крича, окружают полуголые островитяне сошедшего на берег Энрике, и вдруг невольник-малаец начинает настороженно вслушиваться. Он разобрал отдельные слова. Он понял, что эти люди говорят ему, понял, о чем они его спрашивают. Мно-

го лет назад увезенный с родной земли, он теперь впервые услыхал обрывки своего наречия.

Достопамятная, незабываемая минута — одна из самых великих в истории человечества: впервые за то время, что Земля вращается во Вселенной, человек, живой человек, обогнув весь шар земной, снова вернулся в родные края! Несущественно, что это ничем не приметный невольник: величие здесь не в человеке, а в его судьбе. Ибо ничтожный раб-малаец, о котором мы знаем только, что в неволе ему дали имя Энрике, тот, кого бичом с острова Суматры погнали в дальний путь и через Индию и Африку насильно привезли в Лиссабон, в Европу, — первым из мириадов людей, когда-либо населявших Землю, через Бразилию и Патагонию, через все моря и океаны вернулся в края, где говорят на его родном языке; мимо сотен, мимо тысяч народов, рас и племен, которые для каждого понятия по-своему слагают слово, он первый, обогнув вращающийся шар, вернулся к единственному народу с понятной ему речью.

В эту минуту Магеллану становится ясно: его цель достигнута, его дело закончено. Плывя с востока, он снова вступил в круг малайских языков, откуда двенадцать лет назад отплыл на запад; вскоре он сможет невредимым доставить невольника Энрике обратно в Малакку, где он его купил. Безразлично, произойдет ли это завтра или в более позднее время, сам ли он или другой вместо него достигнет заветных островов. Ведь в основном его подвиг уже завершился в минуту, когда впервые на вечные времена было доказано: тот, кто неуклонно плывет по морю — вслед ли за солнцем, навстречу ли солнцу, — неизбежно вернется к месту, откуда он отплыл. То, что в течение тысячелетий предполагали мудрейшие, то, о чем грезили ученые, теперь, благодаря отваге одного человека, стало непреложной истиной: Земля — кругла, ибо человек обогнул ее!

Эти дни в Массаве — самые счастливые за время плавания, дни блаженного отдыха. Звезда Магеллана — в зените. Через три дня, в первый день Пасхи, исполнится годовщина злосчастных событий в бухте Сан-Хулиан, когда ему пришлось кинжалом и насилием подавлять заговор. А с тех

пор — сколько злоключений, сколько страданий, сколько мытарств! Позади остался невыразимый ужас: тяжкие дни голода, лишений, ночные штормы в неведомых водах. Позади злейшая из мук — страшная неуверенность, месяцы и месяцы душившая его, жгучее сомнение, по правильному ли пути он повел свою флотилию. Но жестокая распря в рядах участников экспедиции похоронена навеки — на этот раз глубоко верующий христианин в первый день Пасхи может праздновать подлинное воскресение из мертвых. Теперь, когда грозовые тучи несметных опасностей рассеялись, его подвиг воссиял ярким светом. Великое, непреходящее деяние, на которое уже годами были обращены все помыслы, все труды Магеллана, наконец свершено. Магеллан нашел западный путь в Индию, который тщетно искали Колумб, Веспуччи, Кабот, Пинсон и другие мореходы. Он открыл страны и моря, до него никем не виданные. Он — первый европеец, первый человек, за время существования мира благополучно пересекший огромный неведомый океан. Он проник в необъятные земные просторы дальше любого смертного. Сколь ничтожным, сколь легким по сравнению со всем этим доблестно выполненным, победоносно достигнутым кажется ему то немногое, что еще осталось: всего несколько дней пути с надежными лоцманами до Молуккских островов, до богатейшего архипелага в мире, и тогда исполнена клятва, данная императору. Там он признательно заключит в объятия верного друга Серрано, поддерживавшего в нем бодрость и указавшего ему путь, а затем, до отказа набив чрева судов пряностями, — домой, через Индию и мыс Доброй Надежды, по хорошо знакомому пути, где каждая гавань, каждая бухта запечатлены в его памяти! Домой, через то, другое полушарие Земли, в Испанию — победителем, триумфатором, богачом, наместником, adelantado, с неувядаемыми лаврами победы и бессмертия на челе!

А поэтому не нужны поспешность и нетерпение: можно отдохнуть, насладиться чистым счастьем сознания, что после долгих месяцев скитаний цель достигнута. Мирно отдыхают победоносные аргонавты в блаженной гавани. Чудесна природа, благодатен климат, приветливы туземцы, еще

не изжившие золотого века, миролюбивые, беззаботные и праздные. Questi popoli vivano con justizia, peso e misuro; amano la pace, l'otio e la quiete*. Но, кроме лени и покоя, дети природы любят еще и еду и питье, и вот — как в сказке — изнуренные матросы, совсем еще недавно силившиеся утолить голод, наполняя судорожно сжимавшиеся желудки опилками и сырым крысиным мясом, вдруг оказываются в царстве волшебного изобилия. Так необоримо искушение полакомиться вкусной, приготовленной из свежих продуктов пищей, что даже благочестивый Пигафетта, никогда не забывающий благодарно упомянуть Богоматерь и всех святых, впадает в тяжкий грех.

В пятницу, постный день, да еще в Страстную пятницу, Магеллан посылает его к царьку острова. Каламбу (так зовут царька) торжественно ведет его к себе под бамбуковый навес, где в большом котле шипит и потрескивает лакомая жирная свинина. Из учтивости, а может быть, и из чревоугодия Пигафетта совершает тяжкий грех: он не в силах устоять против соблазнительного аромата и в строжайший и святейший из всех постных дней съедает изрядную порцию этого чудесного жаркого, усердно запивая его пальмовым вином. Но едва только кончилась трапеза, едва только изголодавшиеся и неприхотливые посланцы Магеллана успели набить свои желудки, как царек приглашает их на второе пиршество, в свою свайную хижину. Гостям приходится, поджав и скрестив ноги, «словно портные за работой» — замечает Пигафетта, — вторично приняться за еду; тотчас появляются блюда, до краев наполненные жареной рыбой и только что собранным имбирем, кувшины с пальмовым вином — и грешник продолжает грешить. Но и этого мало! Не успели Пигафетта и его спутник справиться с великолепными яствами, как сын правителя царства изобилия является приветствовать их, и, чтобы не нарушить долга вежливости, они вынуждены снова — уже в третий раз! — принять участие в трапезе. На этом пиршестве для разнообразия подают разварную рыбу и сильно приправленный пряностя-

---

* Эти народы живут в справедливости, благоденствии и умеренности, любят мир, отдохновение и покой (*ит.*).

ми рис; оно сопровождается такими обильными возлияниями, что не в меру угостившегося, пошатывающегося, невнятно что-то лопочущего спутника Пигафетты укладывают на циновку, чтобы первый европеец, захмелевший на Филиппинах, как следует проспался. И наверняка можно сказать, что ему снятся райские сны.

Но и островитяне воодушевлены не менее своих изголодавшихся гостей. Какие чудесные люди явились к ним из-за моря, какие великолепные подарки они привезли! Гладкие стекла, в которых собственными глазами видишь собственный нос, сверкающие ножи и увесистые топоры, от одного удара которых могучая пальма валится наземь. А как великолепны огненно-красная шапка и турецкий наряд, в котором теперь щеголяет их вождь; неправдоподобно прекрасен и блестящий панцирь, делающий человека неуязвимым. По приказу адмирала один из матросов облекается в стальную броню, а островитяне осыпают его дождем своих жалких костяных стрел и слышат при этом, как неуязвимый воин в блестящих доспехах хохочет и потешается над ними. Что за чародеи! Хотя бы вот этот самый Пигафетта! В руке он держит палочку или перо какой-то птицы, и, когда с ним говоришь, он чертит этим пером на белом листе какие-то черные знаки и может потом совершенно точно повторить человеку, что тот говорил два дня назад! А как чудесно было зрелище, которое они, эти белые боги, устроили в день, называемый ими Пасхальным воскресеньем! На взморье они воздвигли странное сооружение, алтарь, как они его называли. Большой крест сверкал на нем в лучах солнца. Потом все они, по двое в ряд, начальник и с ним еще пятьдесят человек, разодетые в лучшие свои одежды, подходят к этому сооружению, и в то время, как они преклоняют колена перед крестом, на кораблях внезапно вспыхивают молнии, и при синем ясном небе далеко по морю разносятся раскаты грома.

Веря в чудодейственность того, что совершают здесь эти мудрые и могущественные чужеземцы, островитяне робко и благоговейно подражают каждому их движению, так же становятся на колени и так же прикладываются к кресту. И вчерашние язычники радостно благодарят адмирала, когда он обещает водрузить на их острове крест таких огром-

ных размеров, что с моря его будет видно отовсюду. Двойной успех достигнут за эти несколько дней: царек острова стал не только союзником испанского короля, но и братом его по вере. Не только новые земли приобретены для испанской короны, но и души этих невольных грешников, этих детей природы отныне подвластны католической церкви и Христу.

Чудесное идиллическое время, эти дни на острове Массаве. Но довольно отдыхать, Магеллан! Матросы набрались сил, повеселели, позволь им теперь возвратиться на родину! К чему еще мешкать, что значит для тебя открыть еще один островок, когда ты сделал величайшее открытие своей эпохи. Теперь еще зайти на «Острова пряностей» — и ты выполнил свою задачу, сдержал свою клятву; и тогда домой, где тебя ждет жена, мечтающая показать отцу второго сына, родившегося уже в отсутствие отца!

Домой, чтобы изобличить мятежников, трусливо клевещущих на тебя!

Домой, чтобы всему миру показать, что может совершить мужество португальского дворянина, стойкость и самоотверженность испанской команды! Не заставляй твоих друзей дольше ждать, не допускай, чтобы те, кто верит в тебя, заколебались!

Домой, Магеллан! Держи курс домой!

Но гений человека всегда одновременно и его рок. А гением Магеллана было долготерпение, великий дар выжидать и молчать.

Сильнее, чем желание вернуться триумфатором на родину и принять благодарность властелина Старого и Нового Света, в нем говорит чувство долга. Все, за что этот человек ни принимался, он заботливо подготовлял и упорно доводил до конца. Так и на этот раз, прежде чем покинуть открытый им Филиппинский архипелаг, Магеллан хочет хоть сколько-нибудь изучить его и упрочить за испанской короной. Слишком развито в нем чувство долга, чтобы он мог удовлетвориться посещением и присоединением маленького островка: так как из-за недостатка людей он не может оставить в этих краях ни представителей власти, ни торговых агентов, то он хочет и с более могущественными владыками островного

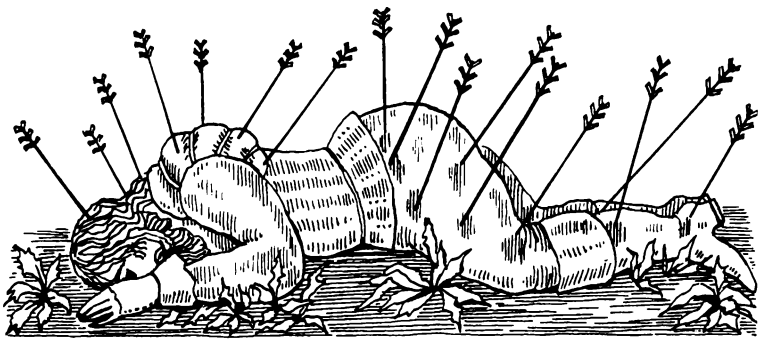
царства заключить такой же договор, как с малозначащим Каламбу, а в качестве символов нерушимой власти повсюду водрузить кастильское знамя и католический крест.

Царек сообщает Магеллану, что самый большой из островов архипелага — это Себу. А когда Магеллан просит дать ему надежного лоцмана, чтобы добраться туда, туземный владыка смиренно просит о великой чести самолично вести экспедицию.

Правда, высокая честь иметь на борту царственного лоцмана несколько задерживает отплытие, ибо во время сбора риса бравый Каламбу столь ретиво предался обжорству и пьянству, что только 4 апреля флотилия смогла наконец вверить свою судьбу этому последователю Пантагрюэля. Но вот путешественники отчаливают от благословенного берега, где в последнюю минуту нашли спасение от гибели. По тихому морю плывут они мимо ласково манящих островов и островков, направляясь к тому, который Магеллан сам избрал, ибо, с грустью пишет верный Пигафетта, — так было угодно злосчастной его судьбе.

Смерть накануне полного торжества

7 апреля 1521 года — 27 апреля 1521 года



После трех дней благополучного плавания по морской глади 7 апреля 1521 года флотилия приближается к острову Себу; многочисленные деревушки на побережье свидетельствуют о том, что остров густо населен. Царственный лоцман Каламбу уверенной рукой направляет судно прямо к приморской столице. С первого же взгляда на гавань Магеллан убеждается, что здесь он будет иметь дело с раджой или владыкой более высокого разряда и большей культуры, так как на рейде стоят не только бесчисленные челны туземцев, но и иноземные джонки. Значит, нужно с самого начала произвести надлежащее впечатление, внушить, что чужестранцы повелевают громом и молнией. Магеллан приказывает дать приветственный залп из орудий, и, как всегда, это чудо — внезапная искусственная гроза при ясном небе — приводит детей природы в неописуемый ужас: с дикими воплями разбегаются они во все стороны и прячутся. Но Магеллан немедля посылает на берег своего толмача Энрике с дипломатическим поручением — объяснить властителю острова, что страшный удар грома отнюдь не означает вражды, а напротив, этим проявлением волшебной своей власти могущественный адмирал выражает почте-

ние могущественному королю Себу. Повелитель этих кораблей сам только слуга, но слуга могущественнейшего в мире властителя, по повелению которого он, чтобы достичь «Островов пряностей», пересек величайшее море вселенной. Но он пожелал воспользоваться этим случаем также и для того, чтобы нанести дружественный визит королю острова Себу, ибо в Массаве слыхал о мудрости и радушии этого правителя. Начальник громоносного корабля готов показать владыке острова никогда им не виданные редкостные товары и вступить с ним в меновую торговлю. Задерживаться здесь он отнюдь не намерен и, засвидетельствовав свою дружбу, немедленно покинет остров, не причинив мудрому и могущественному королю никаких хлопот.

Но король, или, вернее, раджа Себу Хумабон, уже далеко не столь простодушное дитя природы, как голые дикари на Разбойничьих островах или патагонские великаны. Он уже вкусил плодов от древа познания и знает толк в деньгах и их ценности. Этот темнокожий царек на другом конце света — практичный экономист, как явствует из того, что он либо перенял, либо сам придумал и установил высококультурный обычай — взимание пошлин за право торговли в его гавани. Бывалого купца не запугать громом орудий, не обольстить вкрадчивыми речами переводчика. Холодно поясняет он Энрике, что не отказывает чужеземцам в разрешении бросить якорь в гавани и даже склонен вступить с ними в торговые сношения, но каждый корабль обязан уплатить ему налог за право стоянки и торговли. И если великому капитану, начальнику трех больших иноземных судов, угодно вести здесь торговлю, то пусть он уплатит установленный сбор.

Невольнику Энрике ясно, что его господин, адмирал королевской армады и кавалер ордена Сант-Яго, никогда не согласится платить пошлину какому-то ничтожному туземному царьку. Ведь этой данью он признал бы implicite* независимость и самостоятельность страны, которую Испания, в силу папской буллы, уже считает своей собственностью. Поэтому Энрике настойчиво убеждает Хумабона в этом особом случае отказаться от взимания налога, дабы не прогне-

* Косвенно (*лат.*).

вить повелителя громов и молний. Прижимистый раджа стоит на своем. Сначала деньги — потом дружба. Сначала надо платить, исключений тут не бывает; и в подтверждение своих слов он велит привести магометанского купца, только что прибывшего на своей джонке из Сиама и беспрекословно уплатившего пошлину.

Купец-мавр является незамедлительно и бледнеет от страха. С первого взгляда на большие корабли с крестом святого Яго на раздутых парусах он понял всю опасность положения. Горе, горе! Даже об этом последнем укромном уголке Востока, где еще можно было честно заниматься своим ремеслом, не страшась этих пиратов, пронюхали христиане! Вот они уже здесь, со своими грозными пушками и аркебузами, эти убийцы, эти заклятые враги Магомета! Конец теперь мирным торговым сделкам, конец хорошим прибылям! Торопливо шепчет он королю, что следует быть осторожным и не затевать ссоры с непрошеными гостями. Ведь это те самые люди, которые — здесь он, правда, путает испанцев с португальцами — разграбили и завоевали Каликут, всю Индию и Малакку. Никто не может противостоять белым дьяволам.

Этой встречей снова замкнулся круг: на другом конце света, под другими созвездиями. Европа опять соприкоснулась с Европой. До тех пор Магеллан, продвигаясь на запад, почти везде находил земли, куда еще не ступала нога европейца. Никто из туземцев, встречавшихся ему, не слышал о белых людях, никто из них не видел жителя Европы, а ведь даже к Васко да Гаме, когда тот сошел на берег Индии, какой-то араб обратился на португальском наречии. Магеллану за два года ни разу не довелось быть узнанным: словно по пустой, необитаемой планете странствовали испанцы. Патагонцам они казались небожителями; как от бесов или злых духов, прятались от них туземцы на Разбойничьих островах. И вот здесь, на другом краю земного шара, европейцы наконец снова оказались лицом к лицу с человеком, который их знает, который их опознал: из их мира в эти новые миры, через безбрежные просторы океана, переброшен мост. Круг сомкнулся; еще несколько дней, еще несколько сотен миль — и после двух лет разлуки Магеллан снова встретит европейцев, христиан, друзей, единоверцев! Если он мог еще

сомневаться, действительно ли так близка цель, то теперь подтверждение получено: одно полушарие сошлось с другим, невозможное совершилось — он обогнул земной шар.

Предостерегающие слова мавританского торговца возымели очевидное действие на короля Себу. Оробев, он тотчас же отказывается от своих требований и в доказательство добрых намерений приглашает посланцев Магеллана на пиршество, во время которого — третье неопровержимое доказательство того, что аргонавты уже совсем близко от Аргоса, — кушанья подаются не в плетенках и не на дощечках, а в фарфоровой посуде, вывезенной из Китая — из сказочного «Катая» Марко Поло. Теперь, следовательно, рукой подать до Ципангу и Индии, испанцы уже коснулись края восточной культуры. Мечта Колумба — западным путем достичь Индии — осуществлена.

После того как дипломатический инцидент улажен, начинается официальный обмен любезностями и товарами. Пигафетта в качестве уполномоченного посылается на берег. Раджа изъявляет готовность вступить на вечные времена в союз с могущественным императором Карлом, и Магеллан честно прилагает все усилия к тому, чтобы сохранить мир. В противоположность Кортесу и Писарро, немедленно спускавшим своих кровавых псов, варварски истреблявшим и порабощавшим туземное население с единственной мыслью как можно скорее разграбить покоренную страну, более дальновидный и гуманный Магеллан в продолжение всего своего путешествия стремился исключительно к мирному проникновению в открытые им земли; он старается присоединять новые области средствами дружелюбия, заключением договоров, а не принуждением и кровавым насилием. Ничто так не возвышает Магеллана в нравственном отношении над всеми другими конквистадорами его времени, как это неуклонное стремление к гуманности. Магеллан — натура суровая, крутая, об этом свидетельствует его поведение во время мятежа; поддерживая в своей флотилии железную дисциплину, он не ведал ни снисхождения, ни жалости. Но если он и был беспощаден, то к чести его следует признать, что жестоким он никогда не был; его память не осквернена такими зверскими распра-

вами, как сожжение кациков[81], пытки Какамацина[82], навеки запятнавшими великие подвиги Кортеса и Писарро. Ни единое нарушение слова, что другие конквистадоры считали вполне законным, когда дело касалось язычников, не бесчестит его торжества. До смертного своего часа Магеллан строго и неукоснительно придерживался любого своего договора с любым туземным князьком. Эта честность была лучшим его оружием и остается вечной его славой.

Между тем, к вящему удовольствию обеих сторон, началась меновая торговля. Больше всего островитяне дивятся железу, этому твердому веществу, как нельзя более пригодному для изготовления мечей, копий, заступов. Малоценным представляется им по сравнению с этим металлом мягкое желтовато-белое золото, и, как в памятный 1914 год мировой войны, они с восторгом меняют его на железо[83]. За четырнадцать фунтов этого в Европе почти не имеющего ценности металла островитяне приносят пятнадцать фунтов золота, и Магеллану приходится строгостью удерживать восхищенных этой безумной щедростью матросов, в чаду восторга готовых променять на золото свою одежду и все пожитки. Он опасается, что вследствие слишком неистового спроса туземцы догадаются о ценности этого металла и тем самым обесценятся привезенные европейцами товары. Магеллан хочет сохранить преимущество, доставляемое невежеством туземцев, но в остальном строго следит, чтобы жителям Себу все отпускалось по точному весу и мере; этого человека, мыслящего в огромных масштабах, не занимает случайная прибыль; ему важно наладить торговые сношения и в то же время привлечь сердца и души жителей этой новой провинции. И снова его расчет оказался правильным: вскоре туземцы исполняются такого доверия к приветливым и могущественным чужеземцам, что раджа, а вместе с ним и большинство его приближенных по доброй воле изъявляют желание принять христианство. Того, чего другие испанские завоеватели годами добивались при помощи пыток и инквизиции, страшных казней и костров, глубоко верующий и все же чуждый фанатизма Магеллан добился за несколько дней без всякого принуждения. Сколь гуманно и терпимо вел он себя при этом обращении туземцев, мы читаем у Пигафетты:

«Адмирал сказал им, что не следует становиться христианами из страха перед нами или в угоду нам. Если они действительно хотят принять христианство, то побуждать их к тому должно лишь собственное желание и любовь к Богу. Но если они и не пожелают перейти в христианскую веру, им тоже не причинят зла. С теми же, кто примет христианство, будут обходиться еще лучше. Тут все они как один воскликнули, что не из страха и не из угодливости хотят они стать христианами, но по собственной воле. Они предают себя в его руки, и пусть он поступает с ними как со своими подначальными. После этого адмирал со слезами на глазах обнял их и, сжимая руки наследного принца и раджи Массавы в своих руках, сказал, что клянется верою своей в Бога и верностью своему властелину нерушимо соблюдать вечный мир между ними и королем Испании, а они, в свою очередь, обещали ему то же самое.

В следующее воскресенье, 14 апреля 1521 года — закатным светом блистает счастье Магеллана, — испанцы празднуют величайшее свое торжество. На базарной площади города воздвигнут пышный балдахин; под ним на доставленных с кораблей коврах стоят два обитых бархатом кресла — одно для Магеллана, другое для раджи. Перед балдахином сооружен видный издалека, сияющий огнями алтарь, вокруг которого сгрудились тысячи темнокожих людей в ожидании обещанного зрелища. Магеллан, который до этой минуты по искусному расчету ни разу не сходил на берег и все переговоры вел через Пигафетту, инсценирует свое появление с нарочитой, оперной пышностью. Сорок воинов в полном вооружении выступают впереди него, за ними знаменосец, высоко вздымающий шелковое знамя императора Карла, врученное адмиралу в севильском соборе и впервые развернутое здесь, над новой испанской провинцией; затем размеренно, спокойно, величаво шествует Магеллан в сопровождении своих офицеров. Как только он вступает на берег, с кораблей гремит пушечный залп. Устрашенные салютом зрители пускаются наутек, но так как раджа (которому заранее предусмотрительно сообщили об этом раскате грома) остается невозмутимо сидеть на своем кресле, то они спешат назад и с восторженным изумлением следят за тем, как на

площади водружается исполинский крест и их повелитель, вместе с наследником престола и многими другими, низко склонив голову, принимает «святое крещение». Магеллан на правах восприемника дает ему взамен его прежнего языческого прозвища Хумабон имя Карлос — в честь его державного повелителя. Королева — она весьма красива и могла бы и в наши дни вращаться в лучшем обществе, так как на четыреста лет опередила своих европейских и американских сестер: ее губы и ногти выкрашены в ярко красный цвет, — отныне зовется Хуаной. Принцессы также нарекаются царственными испанскими именами — Изабелла и Катарина. Само собой разумеется, что знать Себу и соседних островов не желает отставать от своих раджей и предводителей: до поздней ночи священник флотилии не покладая рук крестит сотни стекающихся к нему людей. Весть о чудесных пришельцах быстро распространяется. На следующий же день обитатели других островов, прослышав о волшебных церемониях пришлого кудесника, толпами устремляются на Себу; еще несколько дней, и на этих островах не останется ни одного царька, который не присягнул бы Испании и не склонил бы голову перед святым кропилом.

Более удачно не могло завершиться предприятие Магеллана. Он достиг всего. Пролив найден, другой конец Земли нащупан. Новые богатейшие острова вручены испанской короне, несметное множество языческих душ — христианскому Богу; и все это — торжество из торжеств! — достигнуто без единой капли крови. Господь помог рабу своему. Он вывел его из тягчайших испытаний, горше которых не перенес ни один человек. Беспредельно проникся теперь Магеллан почти религиозным чувством уверенности. Какие мытарства могут еще предстоять ему после мытарств, уже перенесенных, что еще может подорвать его дело после этой чудесной победы? Смиренная и чудодейственная вера в успех всего, что он предпримет во славу Господа и своего короля, наполняет его.

И эта вера станет его роком.

Все удалось Магеллану так, словно ангелы освещали его путь. Он завладел новой империей для испанской короны, но как

сохранить все, что добыто, за королем? Дольше оставаться на Себу он не может, как не может покорить один за другим все острова архипелага. А потому Магеллан, всегда мыслящий последовательно и в широких масштабах, видит лишь один способ упрочить испанское владычество на Филиппинах, а именно: объявить Карлоса-Хумабона, первого католического великого раджу, повелителем над всеми остальными раджами. Союзник испанского короля, король Карлос Себуанский, должен отныне иметь больший престиж, чем все другие. Поэтому не безрассудством и легкомыслием, а хорошо продуманным политическим ходом было обещание Магеллана оказать вооруженную помощь королю Себуанскому, если кто-либо посмеет противиться его власти.

По чистой случайности именно в эти дни представляется случай продемонстрировать такую помощь. На крохотном островке Мактан, расположенном напротив Себу, правит раджа по имени Силапулапу, издавна выказывавший непокорство властителю Себу. На этот раз он запрещает своим подданным снабжать продовольствием неведомых гостей Карлоса-Хумабона, и такое враждебное поведение, быть может, не лишено оснований: где-то на его островке — должно быть, потому, что матросы после долгого вынужденного воздержания как исступленные гонялись за женщинами, — произошла кровавая свалка, во время которой было сожжено несколько хижин. Не удивительно, что Силапулапу хочет как можно скорее избавиться от чужеземцев, но его неприязненное отношение к гостям Хумабона кажется Магеллану отличным поводом показать свою мощь. Не только властитель Себу — все царьки окрестных островов должны воочию увидеть, как разумно поступили те, кто подчинился испанцам, и какое жестокое возмездие ждет всех, кто противоборствует этим громовержцам. И вот Магеллан предлагает Хумабону дать строптивому царьку суровый урок силою оружия, чтобы раз навсегда внушить уважение остальным. Как ни странно, но раджа Себу встречает этот план без особого восторга: может быть, он боится, что усмиренные племена восстанут против него тотчас же после отплытия чужестранцев. Серрано и Барбоса также отговаривают адмирала от этого ненужного похода.

Но Магеллан и не помышляет о настоящих военных действиях; покорится мятежный правитель добровольно — тем лучше для него и для всех остальных; заклятый враг ненужного кровопролития, антипод воинственных конквистадоров, Магеллан сначала посылает к Силапулапу своего невольника Энрике и купца-мавра с предложением честного мира. Он требует одного: чтобы правитель Мактана признал власть раджи острова Себу и покровительство Испании. Если Силапулапу пойдет на это — испанцы будут жить с ним в мире и согласии; если он откажется признать эту верховную власть — тогда ему покажут, как больно колют испанские копья.

Но раджа отвечает, что и его люди вооружены копьями. Пусть это бамбуковые и тростниковые копья, но острия их достаточно хорошо закалены на огне, и испанцы могут сами в этом убедиться. После столь надменного ответа у Магеллана, символически представляющего всемогущество Испании, остается лишь один аргумент — оружие.

Во время приготовлений к этому маленькому походу Магеллану впервые изменяют самые характерные для него качества: осмотрительность и дальновидность. Кажется, впервые этот все точно рассчитывающий человек легкомысленно бросается навстречу опасности. Поскольку раджа Себу изъявил готовность дать испанцам для этой экспедиции тысячу своих воинов, а Магеллан, со своей стороны, легко мог бы переправить на островок человек полтораста из своего экипажа, не подлежит сомнению, что раджа этого крохотного острова, который даже нельзя отыскать на нормальной карте, потерпел бы полное поражение. Но Магеллан не хочет бойни. В этой экспедиции для него важно нечто иное и более значительное: престиж Испании. Адмирал императора Старого и Нового Света считает ниже своего достоинства посылать целое войско против темнокожего нищего царька, в жалкой хижине которого нет ни одной не заплатанной циновки, и выставлять превосходящие силы против жалкой оравы островитян. Магеллан преследует обратную цель: наглядно доказать, что один хорошо вооруженный, закованный в латы испанец шутя справится с сотней таких голышей. Единственная задача этой карательной экспеди-

ции — заставить население всех островов архипелага уверовать в миф о неуязвимости и богоподобности испанцев; то, что несколько дней назад на флагманском судне было показано раджам Массавы и Себу в качестве увеселительного зрелища, когда два десятка туземных воинов одновременно со всего размаха ударяли своими жалкими копьями и кинжалами по добротной испанской броне, а закованный в нее человек оставался невредимым, теперь в более крупном масштабе должно подтвердиться на примере строптивого царька. Только по этим, чисто психологическим, соображениям обычно столь осторожный Магеллан, вместо того чтобы захватить с собой всю команду, берет всего шестьдесят человек, а радже Себу со вспомогательным отрядом туземцев приказывает остаться в лодках и не вмешиваться в то, что произойдет. Только в качестве свидетелей, в качестве зрителей приглашают их присутствовать при назидательном зрелище, как шесть десятков испанцев смиряют всех предводителей, царьков и раджей этого архипелага.

Неужели многоопытный мастер расчета на этот раз просчитался? Безусловно, нет. В историческом аспекте такое соотношение — шестьдесят закованных в латы европейцев против тысячи нагих туземцев, вооруженных копьями с наконечниками из рыбьей кости, — отнюдь не является абсурдным. Ведь с четырьмя-пятью сотнями воинов Кортес и Писарро, преодолевая сопротивление сотен тысяч мексиканцев и перуанцев, покоряли целые государства; по сравнению с такими начинаниями экспедиция Магеллана на островок величиной с булавочную головку действительно была только военной прогулкой. Что об опасности он думал так же мало, как и другой великий мореплаватель капитан Кук, лишившийся жизни в точно такой же ничтожной стычке с островитянами, в достаточной мере явствует из того, что набожный католик Магеллан, обычно перед каждым решительным делом заставлявший команду причаститься, на этот раз не отдал такого распоряжения. Два-три выстрела, два-три основательных удара, и бедные воины Силапулапу, как зайцы, пустятся наутек! И тогда без кровопролития здесь навеки торжественно утвердится нерушимое могущество Испании.

В эту ночь с четверга на пятницу, 26 апреля 1521 года, когда Магеллан и шестьдесят его воинов сели в шлюпки, чтобы переплыть узкий пролив, разделяющий острова, по уверению туземцев, на крыше одной из хижин сидела диковинная, неведомая черная птица, похожая на ворона. И правда — вдруг неизвестно почему начали выть все собаки; испанцы, суеверные не меньше простодушных детей природы, боязливо осеняют себя крестным знамением. Но разве может человек, предпринявший самое дерзновенное в мире плавание, отказаться от стычки с голым царьком и жалкими его приспешниками из-за того, что неподалеку каркает какой-то ворон?

По роковой случайности этот царек находит, однако, надежного союзника в своеобразных очертаниях взморья. Из-за плотной гряды коралловых рифов шлюпки не могут приблизиться к берегу; таким образом, испанцы уже с самого начала лишаются наиболее впечатляющего средства: смертоносного огня мушкетов и аркебуз, гром которых обычно заставляет туземцев обращаться в паническое бегство. Необдуманно лишив себя этого прикрытия, шестьдесят тяжело вооруженных воинов — прочие испанцы остаются в лодках — бросаются в воду с Магелланом во главе, который, по словам Пигафетты, «как добрый пастух не покидал своего стада». По бедра в воде проходят они немалое расстояние до берега, где, неистово крича, завывая и размахивая щитами, их дожидается целое полчище туземцев. Тут противники сталкиваются.

Наиболее достоверным из всех описаний боя, по-видимому, является описание Пигафетты, который, сам тяжело раненный стрелой, до последней минуты не покидал своего возлюбленного адмирала. «Мы прыгнули, — повествует он, — в воду, доходившую нам до бедер, и прошли по ней расстояние вдвое больше того, какое может пролететь стрела, а лодки наши из-за рифов не могли следовать за нами. На берегу нас поджидало тысячи полторы островитян, разделенных на три отряда, и они тотчас с дикими воплями ринулись на нас. Две толпы атаковали нас с флангов, а третья — с фронта. Адмирал разделил команду на два отряда. Наши мушкетеры и арбалетчики в течение получаса пали-

ли издалека с лодок, но тщетно, ибо их пули, стрелы и копья не могли на таком дальнем расстоянии пробить деревянные щиты дикарей и разве что повреждали им руки. Тогда адмирал громким голосом отдал приказ прекратить стрельбу, очевидно желая приберечь порох и пули для решающей схватки. Но его приказ не был выполнен. Островитяне же, убедившись, что наши выстрелы почти или даже вовсе не наносят им вреда, перестали отступать. Они только все громче вопили и, прыгая из стороны в сторону, дабы увернуться от наших выстрелов, под прикрытием щитов придвигались все ближе, забрасывая нас стрелами, дротиками, закаленными на огне деревянными копьями, камнями и комьями грязи, так что мы с трудом от них оборонялись. Некоторые даже метали в нашего командира копья с железными наконечниками.

Чтобы нагнать на них страху, адмирал послал нескольких воинов поджечь хижины туземцев. Но это только сильней разъярило их. Часть дикарей кинулась к месту пожара, который уже успел уничтожить двадцать или тридцать хижин, и там они убили двоих из наших людей. Остальные с еще большим ожесточением бросились на нас. Заметив, что туловища наши защищены, но ноги не прикрыты броней, они стали целиться в ноги. Отравленная стрела вонзилась в правую ногу адмирала, после чего он отдал приказ медленно, шаг за шагом, отступать. Но тем временем почти все наши люди обратились в беспорядочное бегство, так что около адмирала (а он, уже много лет хромой, теперь явно замедлял отступление) осталось не более семи или восьми человек. Теперь на нас со всех сторон сыпались дротики и камни, и мы уже не могли сопротивляться. Бомбарды, имевшиеся в наших лодках, были не в состоянии нам помочь, так как мелководье удерживало лодки вдали от берега. Итак, мы отступали все дальше, стойко обороняясь, и уже были на расстоянии полета стрелы от берега, и вода доходила нам до колен. Но островитяне по пятам преследовали нас, выуживая из воды уже однажды использованные копья, и таким образом метали одно и то же копье пять-шесть раз. Узнав нашего адмирала, они стали целиться преимущественно в него; дважды им уже удалось сбить шлем с его головы; он оставался с горстью людей на своем посту, как подобает храбро-

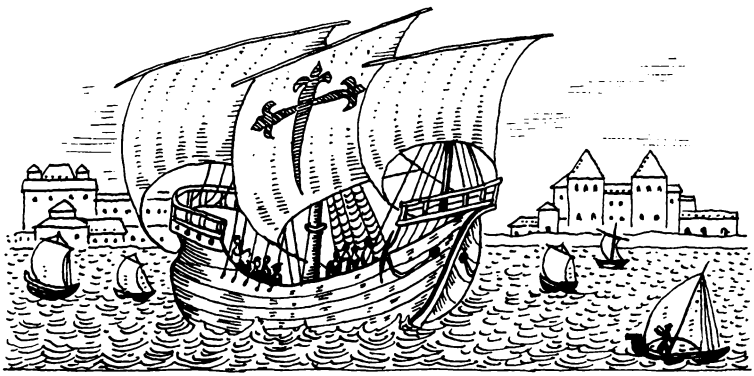
му рыцарю, не пытаясь продолжать отступление, и так сражались мы более часу, пока одному из туземцев не удалось тростниковым копьем ранить адмирала в лицо. Разъяренный, он тотчас же пронзил грудь нападавшего своим копьем, но оно застряло в теле убитого; тогда адмирал попытался выхватить меч, но уже не смог этого сделать, так как враги дротиком сильно ранили его в правую руку, и она перестала действовать. Заметив это, туземцы толпой ринулись на него, и один из них саблей ранил его в левую ногу, так что он упал навзничь. В тот же миг все островитяне набросились на него и стали колоть копьями и прочим оружием, у них имевшимся. Так умертвили они наше зерцало, свет наш, утешение наше и верного нашего предводителя».

В мелкой стычке с ордою голых островитян бессмысленно погибает в высшую, прекраснейшую минуту осуществления своей задачи величайший мореплаватель истории. Гений, который, подобно Просперо, укротил стихии, обуздал бури и одолел людей, сражен жалким ничтожеством Силапулапу. Но только жизнь может отнять у него эта нелепая случайность — не победу, ибо великий его подвиг уже почти доведен до конца, и после этого сверхчеловеческого деяния личная судьба уже не имеет большого значения. Но к сожалению, за трагедией его героической гибели слишком быстро следует сатировское действо — те самые испанцы, которые несколько часов назад как небожители взирали на жалкого царька Мактана, доходят до такого глубокого унижения, что, вместо того чтобы немедленно послать за подкреплением и отнять от убийц труп своего вождя, трусливо посылают к Силапулапу парламентера с предложением продать им тело: за несколько погремушек и пестрых тряпок рассчитывают они выкупить бренные останки адмирала. Но более гордый, чем малодушные соратники Магеллана, голый триумфатор отклоняет сделку. Ни на зеркальца, ни на стеклянные бусы, ни на яркий бархат не выменяет он тело своего противника. Этот трофей он не продаст. Ибо уже по всем островам разнеслась молва, что великий Силапулапу легко, как птицу или рыбу, сразил иноземного повелителя грома и молний.

Никто не знает, что сделали несчастные дикари с трупом Магеллана, на волю какой стихии — огня, воды, земли или всеразрушающего воздуха — предали они его бренное тело. Ни единого свидетельства нам не осталось, утрачена его могила, таинственно потерялся в неизвестности след человека, который отвоевал у бескрайного океана, омывающего земной шар, его последнюю тайну.

Возвращение без предводителя

26 апреля 1521 года — 6 сентября 1522 года



Восемь человек убитыми потеряли испанцы в жалкой стычке с Силапулапу, цифра сама по себе довольно ничтожная, но гибель вождя превращает этот день в великую катастрофу. Со смертью Магеллана исчезает волшебный ореол, до той поры возносивший белых пришельцев на божественную высоту, а ведь главным образом на представлении об их мнимой непобедимости зиждились успехи и могущество всех конквистадоров. Несмотря на всю храбрость, выносливость, несмотря на все их воинские добродетели и доспехи, ни Кортесу, ни Писарро никогда не удалось бы победить десятки, сотни тысяч противников, если бы им, как ангел-хранитель, не сопутствовал миф о непобедимости и неуязвимости. Невиданные, всеведущие создания, умеющие извергать громы и молнии из своих дубинок, казались смятенным туземцам неуязвимыми, их нельзя было ранить, ибо стрелы отскакивали от их доспехов; от них нельзя было спастись бегством, ибо огромные четвероногие звери, с которыми они срослись воедино, неминуемо настигали беглеца. Ничто так наглядно не свидетельствует о парализующем воздействии этого страха, как один эпизод эпохи завоеваний, когда какой-то испанец утонул в реке. Три дня лежало его

тело в индийской хижине; индийцы смотрели на него, но не решались к нему притронуться из страха, как бы неведомый бог не ожил. Только когда труп начал разлагаться, они набрались храбрости и подняли восстание. Стоило только одному белому богу оказаться тленным, стоило непобедимым только раз потерпеть поражение, и колдовские путы рухнули — миф об их божественной мощи развеялся в прах.

Так и на этот раз раджа Себу беспрекословно подчинился повелителям грома и молний. Он смиренно принял их веру, полагая, что их бог сильнее деревянных божков, которым он до тех пор поклонялся. Он надеялся, подружившись с этим неведомым сверхъестественным существом, стать в скором времени могущественнейшим властителем всех окрестных островов. Но вот он сам и с ним тысячи его воинов со своих челнов видели, как Силапулапу, ничтожный мелкий предводитель, одержал победу над белыми богами. Собственными глазами видел он, как их громы и молнии стали бессильными, более того — видел, как якобы неуязвимые воины в своих сверкающих доспехах позорно бежали от голых дружинников Силапулапу и, наконец, как они отдали тело своего господина на поругание туземцам.

Может быть, решительные меры были бы еще в состоянии спасти престиж испанцев. Если бы энергичный военачальник немедленно собрал всех моряков, если бы все они тотчас переправились на Мактан, стремительной атакой отбили бы у туземцев тело своего великого начальника и жестоко покарали как самого царька, так и подвластное ему племя — тогда, быть может, раджу Себу тоже охватил бы спасительный ужас. Но вместо этого дон Карлос-Хумабон (теперь уж ему недолго осталось носить это царственное имя) видит, что побежденные испанцы смиренно отряжают послов к победоносному царьку, чтобы за деньги и вещи выторговать у него тело Магеллана. И что же? Жалкий царек ничтожного острова оказывает неповиновение белым богам и с презрением прогоняет их парламентеров.

Трусливое поведение белых богов не могло не навести короля Карлоса-Хумабона на странные размышления. Быть может, он испытывает нечто сходное с горьким разочарованием Калибана, когда бедный обманутый простак убедил-

ся, что опрометчиво принятый им за бога Тринкуло — всего лишь хвастун и пустомеля. Да и вообще испанцы немало поусердствовали, чтобы разрушить доброе согласие с туземцами. Петр Ангиерский, тотчас по возвращении опросивший матросов о подлинной причине перелома, совершившегося в отношениях с туземцами после смерти Магеллана, получил от очевидца qui omnibus rebus interfult*, вероятно от генуэзца Мартина, вполне исчерпывающее объяснение: «Feminarum stuprum causam perturbationis dedisse arbitrantur»**. Несмотря на всю свою строгость, Магеллан не мог воспрепятствовать распаленным долгим воздержанием матросам наброситься на жен гостеприимных хозяев; тщетно пытался он удерживать их от насильственных действий и даже подверг наказанию своего шурина Барбосу за то, что он три ночи провел на берегу; эта разнузданность, вероятно, еще возросла после смерти Магеллана. Во всяком случае, вместе со страхом перед их военной мощью исчезло и всякое уважение к этим пришлым разбойникам. Видимо, испанцы почуяли возрастающее недоверие к ним, ибо внезапно заторопились. Скорей, скорей погрузить товары и прочую поживу — и прямиком к «Островам пряностей»! Идея Магеллана — миром и дружбой упрочить на Филиппинских островах главенство Испании и католической церкви — мало занимает его более корыстных преемников: лишь бы скорей покончить со всем и вернуться на родину. Но для завершения торговых сделок испанцам необходима помощь Магелланова невольника Энрике — ведь он единственный, кто благодаря знанию туземного языка может служить посредником в торговле, — и вот при этом, казалось бы, маловажном обстоятельстве и обнаруживается у них отсутствие того умения обращаться с людьми, благодаря которому более гуманный Магеллан неизменно достигал величайших своих успехов. Верный его раб Энрике до последней минуты не покидал своего хозяина. Раненым доставили его обратно на корабль, и теперь он лежит недвижно, укутанный своей циновкой, то ли страдая

---

* Который сам во всем принимал участие (*лат.*).

** Обесчещение женщин явилось, надо полагать, причиной волнений (*лат.*).

от полученной раны, то ли тяжко и упорно скорбя о гибели горячо любимого господина, к которому он привязался с безотчетной верностью сторожевого пса. И тут Дуарте Барбоса, после смерти Магеллана избранный, вместе с Серрано, начальником флотилии, совершает глупость, нанеся смертельное оскорбление верному рабу Магеллана. Грубо заявляет он: пусть Энрике не воображает, что после смерти своего господина может бездельничать, что он уже не невольник. По возвращении на родину его немедленно передадут вдове Магеллана, а пока что он обязан повиноваться. Если он тотчас не встанет и не отправится на берег исполнять свои обязанности толмача, ему придется отведать арапника. Энрике — из опасной расы малайцев, никогда не прощающих оскорбления; потупясь, выслушивает он эту угрозу. Ему не может быть не известно, что, согласно завещанию Магеллана, он после смерти своего господина должен быть отпущен на свободу и даже получить известную сумму денег. Он молча стискивает зубы. Эти наглые преемники его великого господина и учителя, надумавшие украсть его свободу и не сочувствующие его горю, расплатятся за то, что назвали его perro* и на самом деле обошлись с ним, как с собакой.

Коварный малаец внешне ничем не выдает своих мстительных замыслов. Покорно отправляется он на рынок, покорно выполняет обязанности толмача при купле и продаже, но одновременно использует во зло свое опасное искусство. Он осведомляет раджу Себу, что испанцы уже готовятся погрузить обратно на суда оставшиеся непроданными товары и на следующий день намерены незаметно исчезнуть, увозя с собой все свое добро. Если король теперь проявит должную расторопность, он с легкостью захватит все товары, ничего не отдавая взамен, и даже сможет завладеть при этом тремя великолепными испанскими кораблями.

Скорее всего, мстительный совет Энрике вполне отвечал сокровенным желаниям раджи Себу; во всяком случае, его речи были выслушаны благосклонно. Вдвоем они вырабатывают план и осторожно подготовляют его выполнение. Продолжается без видимых внешних изменений оживленная тор-

* Собака (*исп.*).

говля, сердечнее, чем когда-либо, обходится король Себу со своими новыми единоверцами, да и Энрике, с того дня как Барбоса пригрозил ему плеткой, видимо полностью излечился от лени. Через три дня после смерти Магеллана, 1 мая, он с сияющим лицом приносит капитанам радостную весть: раджа Себу наконец-то получил драгоценности, которые он обещал послать своему повелителю и другу, королю Испании. Желая обставить вручение даров как можно более торжественно, он созвал своих подданных и подвластных ему предводителей племен; пусть же и оба капитана, Барбоса и Серрано, явятся в сопровождении наиболее знатных испанцев, чтобы принять из рук раджи подарки, предназначенные для верховного его повелителя и друга, короля Карлоса Испанского.

Будь Магеллан в живых, он, несомненно, вспомнил бы, из времен индийских своих походов, о столь же любезном приглашении властителя Малакки, когда доверчиво сошедшие на берег капитаны были перебиты и друг его, Франсишку, однофамилец Жуана Серрано, спасся только благодаря личной храбрости Магеллана. Но этот второй Серрано и Дуарте Барбоса, ничего не подозревая, идут в западню, расставленную их новым братом во Христе. Они принимают приглашение — и здесь снова подтверждается старая истина, что звездочеты ничего не знают о собственной судьбе, ибо к ним примкнул и астролог Андрес де Сан-Мартин, по-видимому забывший предварительно составить себе гороскоп, тогда как обычно столь любопытствующего Пигафетту на сей раз спасает рана, полученная в бою на Мактане. Он остается лежать на циновке, и это сохраняет ему жизнь.

Всего на берег отправляется двадцать девять испанцев, и в числе их, роковым образом, лучшие, опытнейшие мореплаватели и кормчие. Торжественно встреченные, они отправляются в пальмовую рощу, где раджа приготовил им пиршество. Несметные толпы туземцев, привлеченных, вероятно, одним любопытством, со всех сторон окружают испанских гостей в порыве сердечности. Однако настойчивость, с какой раджа старается завлечь испанцев в глубь пальмовой рощи, не по душе кормчему, Жуану Карвальо. Он делится своими подозрениями с альгвасилом флотилии Гомесом де Эспиносой; они решают как можно скорее доста-

вить с кораблей на берег весь экипаж, чтобы в случае измены выручить товарищей. Под благовидным предлогом они выбираются из толчеи и спешат к кораблям. Но не успевают они взойти на борт, как с берега до них доносятся душераздирающие крики. Совершенно так же, как некогда в Малакке, туземцы напали на беспечно пирующих испанцев, не дав им схватиться за оружие. Одним ударом вероломный раджа Себу избавился от всех своих гостей и завладел всеми товарами и оружием, равно как и неуязвимыми доспехами испанцев.

Люди на кораблях в первую минуту цепенеют от ужаса. Затем Карвальо, вследствие гибели всех остальных капитанов в мгновение ока ставший начальником флотилии, отдает приказ приблизиться к берегу и открыть по городу огонь из всех орудий. Залп гремит за залпом. Может быть, Карвальо надеется этими репрессиями спасти жизнь хоть нескольким товарищам, может быть, это только проявление бессильной ярости. Но как раз в минуту, когда первые ядра уже начинают крушить хижины, происходит нечто страшное — одна из тех ужасающих сцен, которые навеки врезаются в память людей, живо их себе представивших. Один из подвергшихся нападению, храбрейший из них, Жуан Серрано, точь-в-точь как некогда Франсишку Серрано на малаккском побережье — таинственное повторение, — в последнюю минуту вырывается из рук убийц и бежит к взморью. Но враги гонятся за ним, окружают его, связывают по рукам и ногам. И вот он стоит, беззащитный, теснимый толпою убийц, и из последних сил кричит товарищам на кораблях, чтобы они прекратили огонь, иначе мучители убьют его. Он молит их ради всего святого выслать лодку с товарами и выкупить его.

Какое-то одно мгновение кажется, что торг состоится. Цена жизни храбрейшего из капитанов уже установлена: две бомбарды и несколько бочонков меди. Но туземцы требуют, чтобы товары были доставлены на берег, а Карвальо, возможно, опасается, как бы эти уже однажды нарушившие слово негодяи не присвоили себе не только товары, но и шлюпку. Возможно же — Пигафетта сам высказывает это подозрение, — что честолюбец уже не хочет расстаться со столь внезапно доставшимся ему званием командира и не склонен более служить простым кормчим под началом

выкупленного Серрано. Так или иначе, но чудовищное деяние совершается. На взморье извивается связанный окровавленный человек, окруженный кровожадной толпой, на его лбу холодный пот смертельного ужаса, единственная его надежда — что на расстоянии броска камня находятся три превосходно вооруженных испанских судна с раздутыми парусами, а у борта флагманского корабля стоит его земляк Карвальо, его compadre, его побратим, с кем он разделял тысячи опасностей и кто скорее пожертвует последним, чем покинет его в беде. И снова вопит он охрипшим голосом: скорее, скорее пришлите выкуп. Жадно вперяет он глаза в шлюпку, покачивающуюся рядом с кораблем. Почему мешкает Карвальо, почему он так медлит? Но вот мореход Серрано, знающий любое движение на корабле, воспаленными глазами видит, как шлюпку поднимают на борт. Предательство! Измена! Вместо того чтобы послать к нему спасительную шлюпку, суда начинают скользить к открытому морю. Флагманское судно уже обращается вокруг якоря, уже паруса надуваются попутным ветром. В первую минуту несчастный Серрано не может, не хочет понять, что его — начальника, капитана — собственные его товарищи, по приказу его названого брата, трусливо предают в руки убийц. Еще раз сдавленным голосом кричит он вслед беглецам, просит, приказывает, неистовствует в предсмертной тоске и отчаянии. А когда ему уже становится ясно, что все три корабля снялись с якоря и покидают рейд, он еще раз из последних сил набирает воздух в сдавленную путами грудь, и по волнам к Жуану Карвальо доносится ужасное проклятие: в день Страшного суда он будет призван к ответу перед Всевышним за подлое свое предательство.

Но слова этого проклятия — последние слова Серрано. Собственными глазами видят предавшие его товарищи, как убивают избранного ими начальника. И еще прежде, чем суда успевают выйти из гавани, под торжествующие клики туземцев рушится огромный крест, воздвигнутый испанцами. Все, что за недели кропотливой, тщательной работы было достигнуто Магелланом, пошло прахом из-за легкомыслия и безрассудства его преемников. Покрытые позором, с предсмертным проклятием умирающего капитана,

еще звучащим в их ушах, постыдно повернувшись спиной к ликующим дикарям, как преследуемые разбойники покидают они тот остров, на который, подобно богам, вступили под предводительством Магеллана.

Печален смотр боевых сил, который производят уцелевшие после выхода из злосчастной гавани Себу. Из всех ударов судьбы, перенесенных флотилией с момента отплытия, это пребывание в Себу оказалось наиболее тяжким. Не только незаменимого своего предводителя, Магеллана, потеряли они, но и самых опытных капитанов: Дуарте Барбосу и Жуана Серрано, знатоков ост-индского побережья, более всего необходимых им теперь, во время обратного плавания. Со смертью Андреса де Сан-Мартина они утратили мастера навигационного дела, бегство Энрике лишило их переводчика. При перекличке из взятых на борт в Севилье двухсот шестидесяти пяти человек налицо оказывается всего сто пятнадцать; экипаж так малочислен, что распределить его на три корабля уже не представляется возможным. А потому лучше пожертвовать одним из трех судов и, таким образом, обеспечить два других достаточным числом людей. Жребий добровольного потопления выпадает на долю «Консепсьона», давно уже давшего течь и потому ненадежного в предстоящем трудном плавании. Неподалеку от острова Бохол смертный приговор над ним приводится в исполнение. Все, что только может пригодиться, вплоть до последнего гвоздя, до самого истрепанного каната, переносится на два других корабля; опустошенные деревянные останки предаются огню. Мрачно созерцают матросы, как разгорается едва заметное вначале, чуть тлеющее пламя, как оно затем огненными щупальцами со всех сторон охватывает судно, два года подряд бывшее им домом и родиной, и как наконец жалкий, обуглившийся остов погружается в чужие, враждебные воды. Пять кораблей, с весело развевающимися вымпелами, с многолюдной командой, вышли из Севильской гавани. Первой жертвой стал «Сант-Яго», разбившийся у патагонских берегов. В Магеллановом проливе «Сан-Антонио» трусливо покинул флотилию. Всего два корабля плывут теперь бок о бок по неведомому пути: «Тринидад», бывшее флаг-

манское судно Магеллана, и маленькая невзрачная «Виктория», которой предстоит оправдать свое гордое имя и пронести в бессмертие великий замысел Магеллана.

Отсутствие подлинного вождя, опытного морского начальника, Магеллана, вскоре сказывается в неуверенности курса, взятого уменьшившейся до столь ничтожных размеров флотилией. Точно слепые или ослепленные, ощупью бредут суда среди островов Зондского архипелага. Вместо того чтобы взять курс на юго-запад к Молуккским островам, совсем уже близким, они неуверенными зигзагами, то устремляясь вперед, то снова возвращаясь вспять, блуждают в северо-западном направлении. Целых полгода потрачено в этих бесцельных скитаниях, приводящих суда и к Минданао, и к Борнео. Но еще резче, чем в этой неуверенности курса, отсутствие прирожденного вождя сказывается в падении дисциплины. Под суровым управлением Магеллана не было ни грабежа на суше, ни пиратства на море; неуклонно соблюдался строгий порядок и отчетность. Ни на минуту не забывал Магеллан, что звание адмирала королевской флотилии обязывает его даже в самых дальних странах блюсти честь испанского флага. Его жалкий преемник Карвальо, обязанный своим адмиральским званием лишь тому, что раджи Мактана и Себу умертвили всех старше его по чину, не знает нравственных сомнений. Он пиратствует, без зазрения совести забирая все, что попадается на пути. Любую повстречавшуюся джонку грабят. Выкуп, взимаемый при этих оказиях, Карвальо, нимало не стесняясь, кладет в собственный карман, объединив в своем лице и счетовода и казначея. В то время как Магеллан во имя дисциплины не допускал на борт ни единой женщины, Карвальо перевозит с ограбленной им джонки на корабль трех туземок под предлогом принесения их в дар королеве испанской. В конце концов экипажу наскучил этот новоявленный паша. «Vedento che faceva cosa che non fosse in servitio de Re», — убедившись, сообщает дель Кано, что он заботится не о служении королю, а только о собственной выгоде, моряки попросту прогоняют с должности своего обзаведшегося гаремом начальника и заменяют его триумвиратом в составе капитана «Тринидада» Гомеса де Эспиносы, капитана «Вик-

тории» Себастьяна дель Кано и облеченного званием командира армады кормчего Понсеро.

Но суть дела от этого не меняется, оба судна продолжают бессмысленно описывать круги и зигзаги; правда, в этих густо населенных краях сбившиеся с пути моряки с легкостью пополняют посредством меновой торговли и грабежа запасы продовольствия, но великая задача, во имя которой Магеллан дерзнул предпринять это плавание, как будто и вовсе забыта ими. Наконец счастливая случайность помогает им выбраться из лабиринта Зондских островов. На повстречавшемся им малайском судне, которое они захватывают, по своему пиратскому обыкновению, в их руки попадает человек родом из Тернате; он-то должен знать путь на свою родину, путь к вожделенным «Островам пряностей». И действительно, ему известен этот путь, известен и друг Магеллана Франсишку Серрано; наконец-то нашелся проводник, с помощью которого прекратятся их блуждания. Последнее испытание преодолено, теперь они могут прямиком устремиться к цели, к которой за эти недели бессмысленных скитаний уже не раз приближались, но в своем ослеплении обходили стороной. Теперь несколько дней спокойного плавания больше приближают их к ней, чем шесть месяцев нелепых поисков. 6 ноября они видят, как вдали из моря вздымаются горы, вершины Тернате и Тидоре. Блаженные острова достигнуты.

«Сопровождавший нас лоцман, — пишет Пигафетта, — сказал нам, что это Молукки. Все мы возблагодарили Господа и в ознаменование радостного события дали залп из наших орудий. Пусть не дивятся великому нашему счастью, ведь двадцать семь месяцев без двух дней мы в общей сложности провели в поисках этих островов и вдоль и поперек избороздили моря, стремясь найти их среди бесчисленных островов».

8 ноября 1521 года они бросают якорь у Тидоре, одного из пяти благодатных островов, о которых всю свою жизнь мечтал Магеллан. Как мертвый Сид, посаженный дружинниками на верного боевого коня, одержал еще одну, последнюю победу, так энергия Магеллана и после его смерти приводит к счастливому завершению дела. Его суда, его люди узрели обетованную страну, куда он, подобно Моисею, обе-

щал привести их, но куда ему самому, их предводителю, не суждено было попасть. Но нет в живых и того, кто звал его из-за океана, кто поощрял его замысел и подвиг, — нет более Франсишку Серрано; напрасно Магеллан простер бы объятия, чтобы заключить в них милого друга, в поисках которого он обогнул весь земной шар. Серрано умер за несколько недель до их прибытия, по слухам отравленный, — оба первых творца замысла кругосветного плавания оплатили бессмертие своей безвременной гибелью. Зато восторженные описания Серрано оказались ничуть не преувеличенными. Не только местность здесь прекрасна и богата дарами природы — не менее приветливы здесь и люди. «Что можно сказать об этих островах? — пишет в знаменитом своем письме Максимилиан Трансильванский. — Здесь все дышит простотой и ничто не ценится, кроме спокойствия, мира и пряностей. И лучшее из этих благ, а быть может, и высшее благо на земле — мир. Словно его изгнала из нашего света злокозненность людей и он нашел себе убежище здесь».

Король, чьим другом и советником был Серрано, тотчас направляется к ним навстречу в ладье под шелковым балдахином и по-братски принимает гостей. Правда, вступив на борт, король Альмансор, как верующий магометанин, затыкает нос, страшась ненавистного запаха поганой свинины, но с братской любовью заключает христиан в свои объятия. «Гостите здесь, — уговаривает он их, — пользуйтесь всеми утехами этого края после стольких бедствий и долгих морских скитаний. Отдыхайте, считайте, что вы в царстве вашего собственного властителя». Охотно признает он над собой верховную власть испанского короля. Не в пример остальным царькам, с которыми испанцы имели дело и которые старались урвать от них как можно больше, этот совестливый король просит их не засыпать его дарами, так как «у него нет ничего, чем он мог бы достойным образом отдарить гостей».

Благодатные острова! Все, чего только ни пожелают испанцы, достается им здесь в избытке — изысканнейшие пряности, съестные припасы и золотая пыль, а все то, что приветливый султан не может доставить им сам, он добывает с соседних островов. Моряки опьянены столь великим счастьем после всех лишений и страданий; они с лихорадоч-

ной поспешностью закупают пряности и чудесно оперенных райских птиц; они продают свое белье, мушкеты, плащи, кожаные пояса — ведь возвращение не за горами — и богатыми людьми, приобретя за бесценок несметные сокровища, они вернутся на родину. Иные из них, правда, всего охотнее последовали бы примеру Серрано и навсегда остались бы в этом земном раю. А потому, когда перед самым отплытием выясняется, что только одно из судов еще достаточно крепко, чтобы выдержать обратный путь, и что пятидесяти из ста с лишним моряков придется ждать на благодатных островах, пока второе будет починено, значительная часть экипажа с радостью принимает эту дурную весть.

Остаться обречено бывшее флагманское судно Магеллана «Тринидад». Первым вышел адмиральский корабль из Сан-Лукара, первым прошел Магелланов пролив, первым пересек Тихий океан, всегда впереди остальных — олицетворенная воля их предводителя и великого наставника. Теперь, когда вождя нет в живых, его судно не хочет плыть дальше; как верный пес не дает увести себя с могилы хозяина, так и «Тринидад» отказывается продолжать путь, достигнув цели, поставленной ему Магелланом. Уже погружены бочонки с пресной водой, продовольствие и много центнеров пряностей, уже поднят флаг Сант-Яго с надписью: «Сие да будет залогом благополучного нашего возвращения», уже поставлены паруса, как вдруг в недрах старого, изношенного судна раздается громкий стон, зловещий треск. Трюм наполняется водой, но пробоину никак не удается обнаружить, и приходится спешно начинать разгрузку, чтобы успеть еще вытащить судно на берег. Потребуются недели и недели, чтобы исправить повреждение, а второй корабль, единственный уцелевший из всей флотилии, не может так долго ждать; теперь, когда дует попутный восточный муссон, пора, пора наконец на третьем году плавания принести императору весть, что Магеллан ценою жизни сдержал свое слово и под испанским флагом совершил величайший подвиг в истории мореходства. Единодушно решают, что «Тринидад» после починки попытается пересечь Тихий океан в обратном направлении, с целью у Панамы достичь заокеанских владений Испании, а «Виктория», пользуясь попутными ветра-

ми, немедленно устремится к западу, через Индийский океан, на родину.

Капитаны обоих судов, Гомес де Эспиноса и Себастьян дель Кано, теперь стоящие друг против друга, готовясь после двух с половиной лет совместного плавания проститься навсегда, уже однажды, в решающую минуту, противостояли друг другу. В памятную ночь сан-хулианского мятежа тогдашний каптенармус Гомес де Эспиноса был вернейшим помощником Магеллана. Смелым ударом кинжала вернул он ему «Викторию» и тем самым обеспечил возможность дальнейшего плавания. Юный баск Себастьян дель Кано, тогда еще простым sobresaliente, в ту ночь был на стороне мятежников: он принял деятельное участие в захвате «Сан-Антонио». Магеллан щедро наградил верного Гомеса де Эспиносу и милостиво простил изменившего ему дель Кано. Будь судьба справедлива, она избрала бы для славного завершения великого дела Эспиносу, обеспечившего торжество Магелланова замысла. Но более великодушный, нежели справедливый жребий возвышает недостойного. Эспиноса вместе с разделившими его участь моряками «Тринидада» бесславно погибнет после бесконечных мытарств и скитаний и будет забыт неблагодарной историей, тогда как звезды увенчают своим земным отблеском — бессмертием — как раз того, кто хотел помешать Магеллану совершить подвиг, кто некогда восстал на великого адмирала, — мятежника Себастьяна дель Кано.

Глубоко волнующее прощание на краю света: сорока семи морякам — офицерам и матросам «Виктории» — предстоит отправиться на родину, а пятидесяти одному — остаться с «Тринидад» на Тидоре. До самого отплытия остающиеся пребывают на борту с товарищами, чтобы еще раз обнять их, передать им письма, приветы; два с половиной года совместных тягот давно уже спаяли разноязычную и разноплеменную команду бывшей армады в единое целое. Никакие раздоры, никакие распри уже не в силах разъединить их. Когда «Виктория» наконец отдает якоря, остающиеся все еще не хотят, не могут расстаться с товарищами. На шлюпках и малайских челнах плывут они бок о бок с медленно удаляющимся судном, чтобы еще раз взглянуть друг на друга, еще

раз обменяться сердечными словами. Лишь с наступлением сумерек, когда руки уже устают грести, они поворачивают лодки, и на прощанье гремит орудийный залп — последний братский привет остающимся. А затем «Виктория», последнее уцелевшее судно Магеллановой флотилии, начинает свое незабываемое плавание.

Это обратное, охватившее половину земного шара плавание старого, изношенного за два года и шесть месяцев неустанных странствий, вконец обветшавшего парусника — один из великих подвигов мореплавания. Осуществив волю умершего вождя, дель Кано этим славным деянием загладил свою вину перед Магелланом. На первый взгляд стоящая перед ним задача — довести корабль с Молуккских островов до Испании — кажется не такой уж трудной, ибо с начала шестнадцатого века португальские флотилии регулярно, из года в год плывут с попутными муссонами от Малайского архипелага до Португалии и обратно. Путешествие в Индию лет десять назад, во времена Албукерке и Алмейды, еще было дерзновенным проникновением в неизвестность — теперь оно требует только знания точно размеченного пути, в крайнем же случае капитан на каждой стоянке, в Индии и Африке, на Малакке и в Мозамбике и на островах Зеленого Мыса, находит португальских представителей, чиновников и кормчих; в каждой гавани приготовлены продовольствие и нужные для починки судов материалы. Но неимоверная трудность, которую должен преодолеть дель Кано, заключается в том, что он не только не может пользоваться этими португальскими базами, но вынужден на большом расстоянии огибать их. Ибо еще на Тидоре спутники Магеллана от некоего беглого португальца узнали, что король Мануэл приказал захватить все суда флотилии, а экипаж взять под стражу как пиратов, и действительно их злосчастных товарищей с «Тринидада» не минует эта жестокая участь. Итак, дель Кано предстоит на своем ветхом, источенном червями, до отказа нагруженном корабле, о котором почти три года назад еще в Севильской гавани консул Алвариш говорил, что не отважился бы плыть на нем и до Канарских островов, не больше и не меньше как единым духом пересечь весь Индийский океан, а затем еще, миновав мыс Доброй Наде-

жды, обогнуть всю Африку, ни разу не бросив якоря. Нужно взглянуть на карту, чтобы постичь всю грандиозность, всю дерзновенность этой задачи, которая и теперь, через четыреста лет, даже для современного, снабженного усовершенствованными машинами парохода считалась бы большим достижением.

Этот беспримерный львиный прыжок с Малайского архипелага до Севильи начинается — достопамятный день! — 13 февраля 1522 года в одной из гаваней острова Тидоре. Еще раз принял там дель Кано запасы продовольствия и пресной воды, еще раз, памятуя осмотрительность покойного начальника, велел основательно проконопатить и починить судно, прежде чем на долгие месяцы предать его на волю ветра и волн. В первые дни «Виктория» еще плывет мимо островов; издали моряки видят тропическую зелень, очертания высоких гор. Но время года уже слишком позднее, чтобы можно было делать остановки, и дель Кано должен пользоваться попутным восточным муссоном; нигде не приставая, плывет «Виктория» мимо этих манящих островов, к великому огорчению неустанно любопытствующего Пигафетты, все еще не насмотревшегося досыта «диковинных вещей». Чтобы убить время, он заставляет взятых на борт островитян (всего девятнадцать человек, в то время как число европейцев в экипаже уменьшилось до сорока семи) описывать мелькающие в тумане острова, и темнокожие попутчики рассказывают ему чудеснейшие сказки «Тысячи и одной ночи». Вот на том острове живут люди ростом не выше локтя, но уши у них такой длины, как они сами, и, когда они ложатся спать, одно ухо им служит подстилкой, а другое — одеялом. А на этом островке обитают одни женщины, и мужчина не смеет ступить на него. Но они все же беременеют, от ветра, и всех мальчиков, которых родят, они убивают, а девочек оставляют в живых и растят. Но мало-помалу последние острова исчезают в голубоватом тумане, малайцам уже нечем больше морочить легковерного Пигафетту, и только бескрайный океан окружает судно своей мучительно неизменной синевой. Недели, долгие недели, покуда они плывут в пустыне Индийского океана, моряки видят только небо и море в их ужасающем, гнетущем однообразии. Ни челове-

ка, ни корабля, ни паруса, ни звука; только синева, синева, синева в пустоте, полной пустоте бескрайной глади.

Ни один непривычный звук не доносится до их слуха, ни одно незнакомое лицо не является им за долгие недели. Но вот из тайников корабля выходит старый, хорошо знакомый призрак, тощий, бледный, с глубоко запавшими глазами, — голод. Голод — их верный спутник в плавании по Тихому океану, жестокосердый мучитель и убийца их старых, испытанных товарищей; значит, он снова украдкой пробрался на борт, ибо вот он стоит здесь среди них, алчный и злобный, и, ехидно ухмыляясь, глядит в их смятенные лица. Непредвиденная катастрофа свела на нет все расчеты дель Кано. Правда, его люди погрузили запас продовольствия, главным образом мяса, рассчитанный на пять месяцев, но на Тидоре не оказалось соли, и под палящим зноем индийского солнца недостаточно провяленное мясо начинает гнить. Чтобы спастись от зловония разлагающихся туш, моряки вынуждены весь запас выбросить в море, и теперь пищей им служит один только рис, рис да вода, вода да рис, рис да вода, вода да рис, и с каждой неделей все меньше становится риса и все меньше затхлой воды. Снова появляется цинга, снова начинается мор среди команды. Так велики становятся в начале мая их бедствия, что часть экипажа требует, чтобы капитан взял курс на близлежащий Мозамбик и выдал корабль португальцам, вместо того чтобы продолжать плавание и погибнуть голодной смертью.

Но вместе с командованием бывшему мятежнику незаметно передалась и железная воля Магеллана. Тот самый дель Кано, который ранее, будучи подчиненным, хотел принудить адмирала к отступлению, теперь, как начальник, требует от людей последнего, величайшего усилия — и ему удается подчинить их своей воле. «Ma inanti determinamo tutti morir che andar in mano dei Portoghesi» — «Мы решили лучше умереть, нежели предать себя в руки португальцев», — сможет он впоследствии гордо рапортовать императору. Попытка высадиться на восточном берегу Африки оказывается неудачной: в этом голом, пустынном краю они не находят ни воды, ни плодов; нимало не облегчив своих страданий, они продолжают страшное плавание. У мыса Доброй Надежды — они

невольно называют его прежним именем Cabo Tormentoso — мыс Бурь — на них налетает бешеный шквал, ломающий переднюю мачту и расщепляющий среднюю. С величайшими усилиями измученные, едва держащиеся на ногах матросы кое-как исправляют повреждения. Медленно, с трудом, тяжко кряхтя, тащится судно вдоль побережья Африки дальше на север. Но ни в бурю, ни в безветрие, ни днем, ни ночью не оставляет их в покое жестокий мучитель; издеваясь, оскаливается серый призрак, голод, — издеваясь, ибо на этот раз он измыслил для них новую, дьявольскую пытку. Корабельные трюмы не пусты, как раньше, когда флотилия плыла по Тихому океану, — нет, на этот раз чрево корабля набито до отказа. Семьсот центнеров пряностей везет «Виктория» — семьсот центнеров, количество, достаточное, чтобы приправить роскошнейшую трапезу сотен тысяч, миллионов людей; пряностей у голодающего экипажа сколько душе угодно. Но разве можно запекшимися губами вкушать зернышки перца, разве можно вместо хлеба питаться пряным мускатным цветом или корицей? И если ужаснейшая ирония — умирать от жажды на море, посреди необъятных вод, то на борту «Виктории» люди претерпевают пытку из пыток, умирая голодной смертью посреди груд пряностей. Каждый день за борт бросают иссохшие трупы. Тридцать один испанец из сорока семи и трое из девятнадцати островитян еще живы, когда после пяти месяцев безостановочного плавания, 9 июля, обессиленный корабль, наконец, подходит к островам Зеленого Мыса.

Зеленый Мыс — португальская колония, и Сант-Яго — португальская гавань. Стать здесь на якорь, в сущности, значит отдаться беззащитными в руки соперников, врагов, капитулировать в двух шагах от цели. Но пищи хватит самое большее еще на два-три дня; голод не оставляет им выбора, нужно отважиться на дерзкий обман. Дель Кано решается на смелую попытку — скрыть от португальцев, с кем они имеют дело. Но прежде чем отправить на берег нескольких матросов для закупки съестного, он берет с них торжественную клятву ни словом не обмолвиться португальцам о том, что они — последняя горсть людей, уцелевшая от флотилии Магеллана, и что ими совершено кругосветное плава-

ние. Матросам велено говорить, что бури пригнали их судно из Америки, а следовательно, из сферы владычества Испании. Расщепленная мачта и плачевное состояние истрепанного судна, к счастью, делают эту небылицу правдоподобной. Без особых расспросов, не послав на борт чиновников для досмотра, португальцы, в силу свойственного морякам товарищеского чувства, оказывают шлюпке самый радушный прием. Они немедленно посылают испанцам пресную воду и съестные припасы; дважды, трижды возвращается шлюпка с берега, обильно нагруженная продовольствием. Уже кажется, что хитрость вполне удалась; отдых, а главное, давно не виданная пища — хлеб и мясо — подкрепили моряков, запасы продовольствия уже пополнены настолько, что их хватит до самой Севильи. Еще один, последний раз посылает дель Кано шлюпку — взять рису и плодов, а потом в путь, к победе! К победе! Но странное дело — на этот раз шлюпка не возвращается. Дель Кано мгновенно догадывается о том, что случилось. Кто-нибудь из матросов сболтнул на берегу лишнее или же попытался обменять щепотку-другую пряностей на водку, которой все они так долго были лишены; по этим признакам португальцы узнали корабль Магеллана, своего заклятого врага. Дель Кано уже видит, как на берегу готовят корабль для захвата «Виктории». Только отчаянная решимость может теперь спасти их. Уж лучше покинуть тех, кто на берегу, только не дать захватить себя в двух шагах от цели! Только сохранить мужество для завершения отважнейшего плавания в истории! И хотя на «Виктории» всего восемнадцать человек — слишком мало, чтобы довести ветхое судно до Испании, — дель Кано велит поспешно сняться с якоря и распустить паруса. Это — бегство. Но бегство к великой, к решающей победе.

Как ни кратковременно и опасно было пребывание у Зеленого Мыса, однако именно там усердному летописцу Пигафетте удалось пережить в последнюю минуту одно из тех чудес, ради которых он отправился в путь, ибо на Зеленом Мысе он первый наблюдает явление, новизна и знаменательность которого будут волновать и занимать внимание всего столетия. Моряки, отправленные на берег для покупки

съестных припасов, возвращаются с поразившей их вестью: на суше четверг, тогда как на корабле их уверяли, что сегодня среда.

Пигафетта чрезвычайно удивлен, ибо в течение всего длившегося без малого три года странствия он день за днем вел свои записи. Без единого пропуска отсчитывал он: понедельник, вторник, среду, и так всю неделю, все годы подряд — неужели же он пропустил один день? Он спрашивает кормчего Альво, также отмечавшего каждый день в своем судовом журнале. И что же? По записям Альво тоже еще среда. Неуклонно плывшие на запад моряки каким-то непонятным образом выронили из календаря один день, и рассказ Пигафетты о столь странном явлении ошеломляет всех образованных людей. Обнаружена тайна, о существовании которой не подозревали ни греческие мудрецы, ни Птолемей, ни Аристотель, раскрыть которую удалось только благодаря плаванию Магеллана: подтвердилось точным наблюдением то, что Гераклит Понтийский за четыреста лет до начала христианской эры высказал как гипотезу; доказано, что земной шар не покоится недвижно в мировом пространстве, а равномерным движением вращается вокруг собственной оси и что тот, кто, плывя к западу, следует за ним в его вращении, может урвать у бесконечности крупицу времени.

Эта вновь познанная истина — что в различных частях света время и час не совпадают — волнует гуманистов шестнадцатого века примерно так же, как наших современников — теория относительности. Петр Ангиерский немедленно заставляет некоего «мудрого человека» объяснить ему это удивительное явление и затем сообщает о нем императору и папе. Так, в отличие от других, привезших на родину одни только вороха пряностей, Пигафетта, скромный рыцарь Родосского ордена, привез из долгого плавания драгоценнейшее из всего, что есть на свете, — новую истину!

Но еще судно не возвратилось на родину. Еще ветхая «Виктория», напрягая последние силы, тяжело кряхтя, медленно, устало тащится по морю. Из всех, кто отплыл на ней с Молуккских островов, на борту осталось только восемнадцать человек, вместо ста двадцати рук работают всего

тридцать шесть, а крепкие кулаки были бы нынче к месту, ибо почти у самой цели судну вновь угрожает авария. Ветхие доски вышли из пазов, вода неустанно просачивается во все расширяющиеся щели. Сначала пытаются откачивать ее насосом, но этого недостаточно. Самым целесообразным было бы теперь выбросить за борт, как лишний балласт, хотя бы часть из семисот центнеров пряностей, тем самым уменьшив осадку, но дель Кано не хочет расточать достояние императора. День и ночь чередуются изнуренные моряки у двух насосов — это каторжный труд, а ведь надо еще и зарифлять паруса, и стоять у руля, и дежурить на марсе, и выполнять множество других повседневных работ. Люди изнемогают; подобно лунатикам, шатаясь из стороны в сторону, бредут к своим постам уже много ночей не знавшие сна матросы. «Fauto debili quanto mai homini furono» — «Ослабевшие до такой степени, как никогда еще не ослабевали люди», — докладывает дель Кано императору. И, несмотря на это, каждому из них приходится работать за двоих и за троих. Они работают из последних сил, уже изменяющих им, ибо все ближе, все ближе желанная цель. 13 июля они отчалили, эти восемнадцать героев, от Зеленого Мыса; наконец 4 сентября 1522 года (вскоре исполнится три года, как они расстались с родиной) с марса раздается хриплый возглас радости: дозорный увидел мыс Сан-Висенти. У этого мыса для нас кончается материк Европы, но для них, участников кругосветного плавания, здесь начинается Европа, начинается родная земля. Медленно вырастает из волн отвесная скала, и вместе с ней растет их мужество. Вперед! Вперед! Еще только два дня, две ночи осталось терпеть! Еще одну ночь и один день. Еще только одну ночь, одну только ночь! И — наконец! — все они выбегают на палубу и, дрожа от счастья, теснятся друг к другу — вдали серебристая полоса, зажатая твердой землей, — Гвадалквивир, впадающий в море здесь, у Сан-Лукар-де-Баррамеда! Отсюда три года назад они отплыли под предводительством Магеллана, пять судов и двести шестьдесят пять человек. А сейчас — одно-единственное невзрачное суденышко приближается к берегу, бросает якорь у той же пристани, и восемнадцать человек, пошатываясь, сходят с него, тяжело опускаются на колени и целуют твердую, доб-

рую, надежную землю родины. Величайший мореходный подвиг всех времен завершился в день 6 сентября 1522 года.

Первой обязанностью дель Кано, едва он вступил на берег, было послать императору письмо с великой вестью. А тем временем его моряки жадно поедают свежий, сейчас только испеченный хлеб, которым их здесь щедро потчуют. Годами их пальцы не прикасались к милому теплому каравaю, годами не вкушали они ни вина, ни мяса, ни плодов родной земли. Потрясенный, вглядывается в их лица сбежавшийся народ, словно они возвратились из царства теней, и хочет и не может поверить чуду. А истомленные моряки, едва утолив голод и жажду, уже валятся на циновки и спят, спят всю ночь, спят впервые за все эти годы безмятежным сном, впервые опять прильнув сердцем к сердцу родины.

На следующее утро другое судно буксирует победоносный корабль вверх по Гвадалквивиру, до Севильи. Совершившая кругосветное плавание «Виктория» уже не в силах идти против течения. Удивленно окликают их с встречных барж и лодок. Никто не помнит этого корабля, три года назад отплывшего за океан; давным-давно Севилья, Испания, весь мир считали флотилию Магеллана погибшей — и что же? Вот он, победоносный корабль. С трудом, но все же гордо плывет он навстречу торжеству! Наконец вдали блеснула хиральда, белая колокольня, — Севилья! Севилья! Уже видна гавань, откуда они отплыли. «К бомбардам!» — приказывает дель Кано; это последняя команда в этом плавании. И уже грохочут над рекой орудийные залпы. Так моряки три года назад рыком чугунных жерл прощались с родиной. Так они торжественно приветствовали пролив, открытый Магелланом, так они салютовали неведомому Тихому океану. Так они провозгласили победу, завидев неизвестные Филиппинские острова, так громовым ликованием возвестили, достигнув цели, поставленной Магелланом, что долг ими выполнен. Так они отдали прощальный салют товарищам, оставшимся на Тидоре, когда пришлось покинуть братское судно в гибельной дали. Но никогда еще их медные голоса не звучали так победно, так ликующе, как ныне, когда они возвещают: «Мы вернулись! Мы свершили то, чего никто не свершил до нас! Мы — первые люди, обогнувшие земной шар!»

Толпами устремляется в Севилье народ на берег; все хотят, как пишет Овьедо[84], «поглазеть на это единственное, достославное судно, чье плавание является удивительнейшим и величайшим событием, когда-либо совершившимся с тех пор, как Господь сотворил мир и первого человека». Потрясенные, смотрят горожане, как восемнадцать моряков покидают борт «Виктории», как они, эти пошатывающиеся, едва бредущие скелеты, один за другим колеблющимся шагом сходят на сушу, как слабы, изможденны, истомлены, больны и обессилены эти неверной поступью идущие безыменные герои, каждый из которых за три бесконечных года плавания состарился на добрый десяток лет. Ликование и сочувствие окружают их. Им предлагают еду, их приглашают в дома, обступают их, требуя, чтобы они рассказывали, без передышки, без устали рассказывали о своих приключениях и мытарствах. Но моряки отвечают отказом. Потом, потом, после! Прежде всего — выполнить неотложный долг, сдержать обет, данный в час смертельной опасности: совершить искупительное паломничество в церковь Санта Мария де ла Виктория и Санта Мария Антигуа! В благоговейном молчании шпалерами

теснится народ вдоль дороги, стремясь увидеть, как восемнадцать оставшихся в живых моряков босиком, в белых саванах, с зажженными свечами в руках, шествуют в церковь, чтобы на месте, где они простились с отечеством, возблагодарить Господа за то, что Он сохранил им жизнь среди столь великих опасностей и допустил возвратиться на родину. Снова гремит орган, снова священник в полумраке собора вздымает над головами преклонивших колена людей дароносицу, похожую на маленькое сияющее солнце. Возблагодарив Всевышнего и его святых угодников за собственное избавление, моряки, быть может, еще творят молитву за упокой души своих собратьев и товарищей, три года назад вместе с ними преклонявших здесь колена. Ибо где те, что взирали тогда на Магеллана, их адмирала, в минуту, когда он развертывал шелковое знамя, пожалованное ему королем и благословленное священником? Они утонули, пали от рук туземцев, погибли от голода и жажды, пропали без вести, остались в плену. Только на этих пал неисповедимый выбор судьбы, только их избрала она для торжества, только им даровала милость. И восемнадцать моряков едва слышно, трепетными устами читают молитву за упокой души убитого предводителя и двухсот павших из экипажа армады.

На огненных крыльях разносится тем временем по всей Европе весть о благополучном их возвращении, сперва возбуждая безмерное изумление, а затем столь же безмерный восторг. После плавания Колумба ни одно событие не вызывало у современников подобного воодушевления. Пришел конец всякой неуверенности. Сомнение, этот злейший враг человеческого знания, побеждено. С тех пор как судно, отплыв из Севильской гавани, все время следовало в одном направлении и снова вернулось в Севилью, неопровержимо доказано, что Земля — вращающийся шар, а все моря — единое нераздельное водное пространство. Бесповоротно отметена космография греков и римлян, раз навсегда покончено с доводами церкви и нелепой басней о ходящих на голове антиподах. Навеки установлен объем земного шара, и тем самым, наконец, определены размеры той части Вселенной, которая именуется Землей; другие смелые путешественники

в будущем еще восполнят детали нашей планеты, но в основном ее форма определена Магелланом, и неизменным осталось это определение по сей день и на все грядущие дни. Земля отныне имеет свои границы, и человечество завоевало ее. Великой гордости преисполнился с этого исторического дня испанский народ. Под испанским флагом начал Колумб открытие мира, под испанским флагом завершил его Магеллан. За четверть века человечество больше узнало о своем обиталище, чем за много тысячелетий. И поколение, счастливое и опьяненное этим переворотом представления о мире, свершившимся в пределах одной человеческой жизни, бессознательно чувствует: началась новая эра — новое время.

Всеобщим было восхищение великой победой человеческого духа в этом плавании. Даже снарядившие экспедицию купцы-предприниматели, Casa de Contratación и Христофор де Аро, имеют все основания быть довольными. Они уже собирались списать в убыток восемь миллионов мараведисов, потраченных на снаряжение пяти судов, когда внезапно возвратившееся судно не только сразу окупило все расходы, но и принесло нежданный барыш. Продажа пятисот двадцати квинталов (около двадцати шести тонн) пряностей, доставленных «Викторией» с Молуккских островов, дает за покрытием всех расходов еще около пятисот золотых дукатов чистой прибыли; груз одного-единственного корабля полностью возместил утрату четырех остальных, — правда, при этом подсчете ценность двухсот с лишним человеческих жизней признана равной нулю.

Во всей вселенной только горсть людей цепенеет от ужаса при вести, что один из кораблей Магеллановой армады, завершив кругосветное плавание, благополучно возвратился на родину. Это мятежные капитаны и их кормчий, дезертировавшие на «Сан-Антонио» и год назад высадившиеся в Севилье; погребальным звоном звучит радостная весть в их ушах. Давно уже тешили они себя надеждой, что опасный свидетель и обвинитель никогда не вернется в Испанию, и, нимало не колеблясь, выдали смелым аргонавтам в судебных протоколах свидетельство о смерти (al juicio y parecer que

han venido no volverá a Castilla el dielo Magellanes*). Настолько были они убеждены, что корабли и команда гниют на дне морском, что беззастенчиво похвалялись перед королевской следственной комиссией своим мятежом как патриотическим актом, тщательно при этом умалчивая, что в ту критическую минуту, когда они покинули Магеллана, пролив был им уже найден. Они лишь вскользь упомянули о какой-то «бухте», куда вошли корабли (entraron en una bahia), и о том, что предпринятые Магелланом поиски были бесцельны и бесполезны (inútil y sin provecho). Тем более тяжки обвинения, возводимые ими на отсутствующего Магеллана. Он, мол, вероломно умертвил королевских чиновников, чтобы предать флотилию в руки португальцев, а свой корабль они сумели спасти лишь благодаря тому, что лишили свободы Мескиту, двоюродного брата Магеллана, украдкой взятого им на борт.

Правда, королевские судьи не придали безусловной веры показаниям мятежников и с похвальным беспристрастием признали подозрительными действия обеих сторон. Мятежные капитаны, равно как и верный Мескита, были заключены в тюрьму, а жене Магеллана (еще не знавшей, что она вдова) было запрещено отлучаться из города. Следует выждать, решил королевский суд, покуда вернутся свидетели — остальные корабли, а с ними и адмирал. Но когда миновал целый год, затем второй и от Магеллана все не было вестей — мятежники приободрились. И вот теперь гремит орудийный салют, возвещающий о возвращении одного из судов Магеллана, и гром его убийственно отдается в их совести. Теперь они погибли; Магеллану удалось совершить свое великое дело, и он жестоко отомстит тем, кто, вопреки присяге и морским законам, трусливо его покинул и предательски заковал в цепи своего капитана.

Зато как легко стало у них на сердце, когда они услышали, что Магеллан мертв. Главный обвинитель безмолвен. И еще увереннее чувствуют они себя, узнав, что «Викторию» привел на родину дель Кано. Дель Кано — ведь он был их сообщни-

---

* По мнению и суждению, к которому они пришли, не вернется в Кастилию означенный Магеллан (*исп.*).

ком; вместе с ними поднял он той ночью мятеж в бухте Сан-Хулиан. Уж он-то не сможет, не станет обвинять их в преступлении, в котором сам был замешан. Не против них будет он свидетельствовать, а за них. Итак — благословенна смерть Магеллана, благословенны показания дель Кано! И расчеты их оказались правильными. Правда, Мескиту отпускают на свободу и даже возмещают ему понесенные убытки. Но сами они, благодаря содействию дель Кано, остаются безнаказанными, и мятеж их среди всеобщего ликования предается забвению: в тяжбе с мертвыми живые всегда правы.

Тем временем посланный дель Кано гонец принес в Вальядолидский замок весть о благополучном возвращении «Виктории». Император Карл только что вернулся из Германии — одно за другим переживает он два великих мгновения мировой истории. На сейме в Вормсе он воочию видел, как Лютер решительным ударом навеки разрушил духовное единство церкви; здесь — он узнает, что одновременно другой человек перевернул представление о вселенной и ценою жизни доказал пространственное единство морей. Желая поскорее узнать подробности славного деяния — ибо он лично содействовал его осуществлению, и это, быть может, величайшее и долговечнейшее торжество, выпавшее ему на долю, — император в тот же день, 13 сентября, посылает дель Кано приказ как можно скорее явиться ко двору с двумя наиболее испытанными и разумными людьми из числа своих спутников (las más cuerdas y de mejor razón) и представить ему все относящиеся к плаванию бумаги.

Те двое, кого Себастьян дель Кано взял с собой в Вальядолид — Пигафетта и кормчий Альваро, — по-видимому, действительно были наиболее испытанными из всех; менее безупречным представляется поведение дель Кано при исполнении второго желания императора — относительно передачи всех касающихся плавания документов. Здесь его образ действий внушает некоторые подозрения, ибо ни одной строчки, писанной рукою Магеллана, не вручил он монарху (единственный документ, написанный самим Магелланом, уцелел лишь потому, что вместе с «Тринидадом» попал в руки португальцев). Вряд ли можно усом-

ниться в том, что Магеллан, человек исключительной точности и фанатик долга, сознававший всю важность своего дела, вел регулярный дневник; только рука завистника могла тайно его уничтожить. По всей вероятности, все те, кто восстал в пути против своего начальника, сочли слишком опасным, чтобы император получил беспристрастные сведения об их неблаговидных действиях; вот почему каким-то таинственным образом после смерти Магеллана исчезает все до единой строчки, что было написано его рукою. Не менее странно и исчезновение объемистых записок Пигафетты, им самим в подлиннике врученных императору при этой аудиенции («Fra le altre cose li detti uno libro, scritto di mia mano, de tutle le cose passate de giorno in giorno nel viaggio nostro»*). Эти подлинные записки никоим образом нельзя отождествлять с дошедшим до нас более поздним описанием путешествия, которое, несомненно, является лишь кратким сводом извлечений из них; то, что мы здесь имеем дело с двумя различными трудами, подтверждается донесением мантуанского посла, который сообщает 21 октября о записях Пигафетты, которые тот вел изо дня в день («Libro molto bello che de giorno in giorno li e scritto el viaggio e paese che hano ricercato»**), чтобы три недели спустя обещать всего лишь краткое из них извлечение («Un breve estratto o sommario del libro che hano portato quelli de le Indie»***), то есть именно то, что в настоящее время известно под названием путевых записок Пигафетты, лишь скудно восполняемых заметками кормчих, а также сообщениями Петра Ангиерского и Максимилиана Трансильванского. Мы можем только строить догадки о причинах, вызвавших бесследное исчезновение собственноручных записей Пигафетты; очевидно, задним числом, с целью придать больший блеск торжеству баскско-

---

* Среди других предметов я вручил ему писанную моей рукой книгу, изложение всего того, что происходило день за днем во время нашего путешествия (*ит.*).

** Отменно прекрасная книга, где день за днем описано путешествие и страны, кои они посетили (*ит.*).

*** Краткое изложение книги, или извлечение из книги, представленной прибывшими из Индии людьми (*ит.*).

го дворянина дель Кано, было сочтено за благо как можно меньше распространяться о противодействии, оказанном испанскими офицерами португальцу Магеллану. Здесь, как это часто бывает в истории, национальное тщеславие взяло верх над справедливостью.

Это сознательное умаление Магеллана, видимо, сильно огорчало верного Пигафетту. Он чувствует, что заслуги взвешиваются здесь фальшивыми гирями. Ведь мир всегда награждает лишь завершителя — того, кому выпало счастье довести великое дело до конца, — и забывает всех тех, кто своим духом и кровью сделал этот подвиг возможным, мыслимым. Но на сей раз присуждение наград особенно несправедливо и возмутительно. Всю славу, все почести, все милости пожинает именно тот, кто в решающую минуту пытался помешать Магеллану совершить его подвиг, недавний предатель Магеллана — Себастьян дель Кано. Ранее совершенное им преступление (из-за которого он, в сущности говоря, и решил укрыться во флотилии Магеллана) — продажа корабля иностранцу — торжественно объявляется искупленным; ему пожалована пожизненная годовая пенсия в пятьсот золотых дукатов. Император возводит его в рыцари и присваивает ему герб, символически увековечивающий дель Кано как свершителя бессмертного подвига. Две скрещенные палочки корицы, обрамленные мускатными орехами и гвоздикой, заполняют внутреннее поле; их венчает шлем, над которым высится земной шар с гордой надписью: «Primus circumdedisti me» — «Ты первый совершил плавание вокруг меня». Но еще более чудовищной становится несправедливость, когда награды удостаивается и Эстевао Гомес — тот, кто дезертировал в самом Магеллановом проливе, кто на суде в Севилье показал, будто найден был не пролив, а всего лишь открытая бухта. Да, именно он, Эстевао Гомес, столь нагло отрицавший сделанное Магелланом открытие, получает дворянство за то, что он «в качестве начальника и старшего кормчего открыл пролив». Вся слава, весь успех Магеллана волею злокозненной судьбы достаются именно тем, кто во время плавания всех ожесточеннее старались подорвать дело его жизни.

Пигафетта молчит и размышляет. Впервые этот ранее трогательно-доверчивый, беззаветно преданный юноша начи-

нает догадываться об извечной несправедливости, которой исполнен мир. Он бесшумно удаляется. «Me ne partii de li al meglio potei» — «Я уехал как можно скорее». Пусть придворные льстецы умышленно молчат о Магеллане, пусть те, кто не имеет на то права, протискиваются вперед и присваивают себе почести, причитающиеся Магеллану, — он знает, чьим замыслом, чьим творением, чьей заслугой является этот бессмертный подвиг. Здесь, при дворе, он должен молчать, но во имя справедливости он дает себе слово прославить забытого героя перед лицом потомства. Ни единого раза не упоминает он в описании возвратного пути имени дель Кано; «мы плыли», «мы решили», пишет он всюду, чтобы дать понять, что дель Кано сделал не более остальных. Пусть двор осыпает милостями того, кому случайно выпала удача, — подлинной славы достоин лишь Магеллан, тот, кому уже нельзя воздать достойных его почестей. С бескорыстной преданностью Пигафетта становится на сторону побежденного и красноречиво защищает права того, кто умолк навеки. «Я надеюсь, — пишет он, обращаясь к магистру Родосского ордена, которому посвящена его книга, — что слава столь благородного капитана уже никогда не угаснет. Среди множества добродетелей, его украшавших, особенно примечательно то, что он и в величайших бедствиях был неизменно всех более стоек. Более терпеливо, чем кто-либо, переносил он и голод. Во всем мире не было никого, кто мог бы превзойти его в знании карт и мореходства. Истинность сказанного явствует из того, что он совершил дело, которое никто до него не дерзнул ни задумать, ни предпринять».

Всегда только смерть до конца раскрывает сокровенную тайну личности; только в последнее мгновение, когда победоносно осуществляется его идея, становится очевидным внутренний трагизм этого одинокого человека, которому суждено было всегда нести бремя своей задачи и никогда не порадоваться ее разрешению. Только для свершения подвига избрала судьба из несметных миллионов людей этого сумрачного, молчаливого, замкнутого в себе человека, всегда неуклонно готового пожертвовать ради своего замысла всем, чем он владел на земле, а в придачу и своей жизнью.

Лишь для тяжкой работы призвала она его и без благодарности и награды, как поденщика, прогнала по свершении дела. Другие пожинают славу его подвига, другим достается барыш, другие пируют на пышных празднествах, ибо судьба, столь же суровая, каким был он во всем и со всеми, враждебно отнеслась к этому строгому воину. Лишь то, чего он желал всеми силами своей души, даровала она ему: найти путь вокруг земного шара. Но торжества возвращения, блаженнейшей части его подвига, она его лишила. Только взглянуть, только коснуться венца победы дозволено ему, но, когда он хочет возложить его на чело, судьба говорит: «Довольно» — и заставляет опуститься руку, протянутую к вожделенной награде.

Только одно суждено Магеллану, только самый подвиг, но не золотая тень его — слава. А потому нет ничего более волнующего, как теперь, в мгновение, когда мечта всей его жизни сбылась, перечесть завещание Магеллана. Во всем, чего он только ни просил тогда, в час отплытия, судьба ему отказала. Ничто из всего, что он отвоевал для себя и своих близких в пресловутом «Договоре», не досталось ему. Ни одно, буквально ни одно распоряжение, столь предусмотрительно и благоразумно изложенное в последней его воле, не было осуществлено после геройской смерти Магеллана: судьба беспощадно препятствует исполнению любой, даже самой бескорыстной, самой благочестивой его просьбы. Магеллан указывал, чтобы его похоронили в севильском соборе — но его тело гниет на чужом берегу. Тридцать месс должны были быть прочитаны у его гроба — вместо этого вокруг позорно изувеченного тела ликует орда Силапулапу. Трех бедняков надлежало оделять одеждой и пищей в день его погребения — но ни один не получил ни башмаков, ни серого камзола, ни обеда. Никого, даже последнего нищего не позовут «молиться за упокой его души». Серебряные реалы, завещанные им на крестовый поход, милостыня, предназначенная узникам, лепты монастырям и больницам не будут выплачены. Ибо некому и нечем обеспечить выполнение его последней воли, и если бы товарищи привезли его тело на родину, то не нашлось бы ни одного мараведиса, чтобы купить ему саван.

Но разве потомки Магеллана не стали богатыми людьми? Разве по договору его наследникам не причитается пятая доля всех прибылей? Разве его вдова — не одна из состоятельнейших женщин Севильи? А его сыновья, внуки, правнуки — разве они не adelantados, не наследственные наместники открытых им островов? Нет, никто не наследует Магеллану, ибо нет в живых никого, кто мог бы потребовать его наследство. За эти три года умерли его жена Беатриса и оба младенца-сына; пресекся весь род Магеллана. Ни брата, ни племянника, ни родича, кто мог бы унаследовать его герб, — никого, никого, никого. Тщетны были заботы дворянина, тщетны заботы супруга и отца, тщетны благочестивые пожелания верующего христианина. Только Барбоса, его тесть, пережил Магеллана, но как же должен он проклинать день, когда этот мрачный гость, этот «моряк-скиталец» переступил порог его дома! Он взял у него дочь — и она умерла, сманил с собой в плавание его единственного сына — и тот не вернулся. Зловещей атмосферой несчастья окружен этот человек! Того, кто был ему другом и соратником, он увлек за собой во мрак своей судьбы; тот, кто ему доверился, тяжко за это поплатился. У всех, кто был близок ему, у всех, кто стоял за него, его подвиг, как вампир, высосал счастье и жизнь. Фалейру, его бывшего компаньона, заточают в тюрьму тотчас по возвращении в Португалию. Аранда, расчистивший ему путь, оказывается втянутым в постыдный процесс и теряет все деньги, вложенные им в предприятие Магеллана. С Энрике, которому он обещал свободу, тотчас после его смерти обращаются как с рабом. Двоюродный его брат — Мескита был трижды закован в цепи и лишен свободы за то, что хранил ему верность. Барбосу и Серрано через три дня после гибели Магеллана настигает тот же рок, и только тот, кто восстал против него — Себастьян дель Кано, — присваивает себе всю славу верных, погибших соратников и всю прибыль.

Но самое трагическое: подвиг, которому Магеллан принес в жертву все и даже самого себя, видимо, совершен понапрасну. Магеллан стремился завладеть для Испании «Островами пряностей» и завоевал их ценой своей жизни; но то, что началось, как героическое предприятие, закончилось жал-

кой торговой сделкой — за триста пятьдесят тысяч дукатов император Карл снова продает Молуккские острова Португалии. Западным путем, который открыл Магеллан, почти не пользуются; пролив, найденный им, не приносит ни доходов, ни выгод. Даже после его смерти несчастье преследовало тех, кто доверялся Магеллану: почти все испанские флотилии, пытавшиеся, повторить дерзновенный подвиг морехода, терпят крушение в Магелланов проливе; боязливо начинают обходить его моряки, а испанцы предпочитают волоком перетаскивать свои товары по Панамскому перешейку, чем углубляться в мрачные фьорды Патагонии. И наконец, из-за того, что этот пролив, открытие которого весь мир приветствовал бурным ликованием, оказался таким опасным, еще современники Магеллана полностью о нем забывают, и он снова становится мифом.

Через тридцать восемь лет после того, как Магеллан прошел его, в знаменитой поэме «Араукана»[85] открыто говорится, что Магелланова пролива более не существует, что он непроходим: то ли гора преградила его, то ли какой-то остров встал между ним и океаном.

Так мало уделяют внимания этому проливу, таким легендарным становится он, что отважный пират Фрэнсис Дрейк спустя полстолетия пользуется им как надежным убежищем, словно ястреб налетает оттуда на безмятежные испанские колонии западного побережья и грабит груженные серебром флотилии; лишь много позднее испанцы вспоминают о существовании Магелланова пролива и поспешно строят там крепость, чтобы преградить доступ в него другим флибустьерам. Но несчастье сопутствует каждому, кто следует по пути Магеллана. Королевская флотилия, под предводительством Сармьенто[86] вступившая в пролив, терпит крушение; сооруженная тем же Сармьенто крепость обращается в жалкие развалины, и название Puerto hambre — Голодная гавань зловеще напоминает о голодной смерти поселенных в ней людей. Лишь время от времени китобойное судно или какой-нибудь отважный парусник пользуются проливом, о котором Магеллан мечтал, что он станет великим торговым путем из Европы на Восток. А когда в осенний день 1913 года президент Вильсон в Вашингтоне нажатием электрической

кнопки открывает шлюзы Панамского канала и тем самым навсегда соединяет два океана — Атлантический и Тихий, Магелланов пролив становится и вовсе лишним. Бесповоротно решена его судьба, он низводится до степени только исторического и географического понятия. Заветный paso не стал дорогой для тысяч и тысяч судов, не сделался ближайшим и кратчайшим путем в Индию; открытие его не обогатило Испанию, не усилило мощи Европы; и поныне еще побережье Америки от Патагонии до Огненной Земли слывет одним из самых пустынных, самых бесплодных мест земного шара.

Но в истории духовное значение подвига никогда не определяется его практической полезностью. Лишь тот обогащает человечество, кто помогает ему познать себя, кто углубляет его творческое самосознание. И в этом смысле подвиг, совершенный Магелланом, превосходит все подвиги его времени. Подвиг Магеллана кажется нам особенно славным еще и потому, что он не принес в жертву своей идее, подобно большинству вождей, тысячи и сотни тысяч жизней, а лишь свою собственную. Незабываемо в силу этого подлинно героического самопожертвования великолепное дерзновение пяти крохотных, ветхих, одиноких судов, отправившихся на священную войну человечества против неведомого; незабываем он сам, у кого впервые зародился отважнейший замысел кругосветного плавания, осуществленный последним из его кораблей. Ибо, узнав после тщетных тысячелетних исканий объем земного шара, человечество впервые уяснило себе меру своей мощи; только величие преодоленного пространства помогло ему с новой радостью и новой отвагой осознать собственное свое величие. Наивысшего человек достигает тогда, когда подает пример потомству, и полузабытое деяние Магеллана убедительней чего-либо другого доказывает в веках, что идея, если гений ее окрыляет, если страсть неуклонно движет ее вперед, превосходит своей мощью все стихии и что вновь и вновь человек за малый срок своей преходящей жизни претворяет в действительность, в непреходящую истину недостижимую, казалось бы, мечту сотен поколений.

Примечания

[1] Поездка С. Цвейга в Бразилию состоялась в 1936 г.

[2] Нарсингар (Нарсингхгарх) — город в Индии (провинция Мадхья-Прадеш), центр ремесленной промышленности. Прежде являлся столицей княжества Нарсингар.

[3] Тидоре — один из небольших островов Молуккского архипелага.

[4] Амбоина — южный молуккский остров. Находится в море Банда, у восточной оконечности острова Церам.

[5] Острова Банда — группа островов в северо-восточной части моря Банда.

[6] Малабарское побережье — юго-западное побережье Индии.

[7] Камбай — до XVII в. крупный торговый центр на западном берегу Индии. Славился своей кустарной промышленностью, изделия которой находили широкий спрос не только в Азии, но и в Европе.

[8] Ормуз (Хормуз) — важнейший средневековый порт недалеко от входа в Персидский залив. В 1622 г. город подвергся разрушению.

[9] Риальто — торговый район Венеции, расположенный на одноименном острове.

[10] Бехайм Мартин (1459—1506) — немецкий географ и путешественник, плавал к берегам Западной Африки. Встречался в Лиссабоне с Колумбом. Построил в Нюрнберге большой глобус («Земное яблоко»).

[11] Фуггеры — немецкие торговцы и банкиры, заимодавцы королей и пап.

[12] Вельзеры — немецкие торговцы и банкиры. Получили от Карла V право на колонизацию Венесуэлы, предоставив ему взамен большой заем

[13] Диаш Бартоломеу (ок. 1450–1500) — португальский мореплаватель, обогнувший южную оконечность Африки, которую он назвал мысом Бурь (Торментозо). Жуан II переименовал его в мыс Доброй Надежды.

[14] Кабот Джон (Кабото Джованни) (ок. 1450–1498) — итальянский мореплаватель; с 1490 г. состоял на службе у английского короля. В 1497 г. в поисках северо-западного пути в Азию достиг острова Ньюфаундленд.

[15] Сеута — город на побережье Марокко, прямо напротив Гибралтара. В 1415 г. Сеута была захвачена португальцами, в 1580 г. перешла к Испании и поныне является ее владением.

[16] Сагриш — выступ на мысе Сан-Висенти, крайней юго-западной оконечности Португалии. В 1418 г. Генрих Мореплаватель построил здесь навигационную школу и обсерваторию.

[17] Роджер II (1095—1154) — сицилийский король, сын норманнского завоевателя Роджера I. Совершал разбойничьи набеги на берега Греции и Африки.

[18] Ибн-Батута Абу Абдулла (1304—1377) — арабский путешественник, проведший в странствиях более четверти века своей жизни. Его путешествия дают богатый материал для изучения истории народов различных стран.

[19] Вифиния — древнее государство, расположенное на северо-западе Малой Азии. В 74 г. до н. э. стала римской провинцией.

[20] Портуланы (компасные карты) — морские навигационные карты, которые были в употреблении до XVIII в.

[21] Достаточно убедительных доказательств того, что Азорские острова были уже известны европейцам, не существует. В 1432 г. на берег одного из островов был выброшен Ван дер Берг. В том же году Генрих Мореплаватель послал туда Гонзало Велью Кабрала. Все острова были открыты к 1457 г.

[22] О Мадейре, вероятно, знали еще римляне. В 1419 г. Мадейра была вновь открыта экспедицией Жуана Гонсалвеша Зарку и Триштана Ваш Тейшейры.

[23] Мыс Нон расположен на западном побережье Африки (29°5′ с. ш. — 10°18′ з. д.).

[24] Эанеш Жил — португальский мореплаватель, в 1434 г. обогнул мыс Боядор (Бохадор), расположенный на 26°07′ с. ш. — 14°29′ з. д. В Средние века мыс Боядор считался крайней точкой мореплавания.

[25] Зеленый Мыс (Верде) — западная оконечность Африки (15°45′ с. ш. — 17°33′ з. д.).

[26] В Париже.

[27] Кам Дьогу — португальский мореплаватель, исследовавший африканский берег до 22-й параллели. Первый европеец, достигший устья Конго (1484 г.).

[28] Албукерке Алфонсу де (1453—1515) — португальский военачальник, второй вице-король Индии. Стремился создавать опорные пункты для закрепления португальского владычества. Им были захвачены Гоа (1510 г.), Малакка (1511 г.), Ормуз (1515 г.).

[29] Барруш Жуан де (1496—1570) — португальский летописец и чиновник. Его работы особенно интересны тем, что в них использованы секретные материалы Лиссабонского архива. Известно его сочинение «Азия» в четырех декадах.

[30] Полициано Анджело (1454—1494) — итальянский поэт, живший при дворе Лоренцо Медичи.

[31] Кормчий корабля, на котором аргонавты отправились за золотым руном.

[32] Мифический остров, который древние греки считали северным пределом мира.

[33] Перевод С. Соловьева.

[34] Эспаньола (Гаити) — один из Больших Антильских островов, где в 1492 г. высадился Колумб.

[35] Мараны — испанские и португальские евреи, принимавшие христианство, чтобы избавиться от преследований.

[36] Мануэл Счастливый (1469—1521) — португальский король, двоюродный брат Жуана II. При нем португальская колониальная империя достигла своего расцвета.

[37] Каликут — город на Малабарском побережье, в Средние века важный торговый центр. Васко да Гама безуспешно пытался основать здесь факторию. В 1510 г. Албукерке захватил город, но затем был оттуда изгнан. В 1511 г. с одним из властителей Каликута был заключен мир.

[38] Пинсон Мартин Алонсо (ок. 1440 — ок. 1493) — капитан «Пинты» в первом путешествии Колумба. Его брат Висенте Янес (ок. 1460—1524) командовал в этом плавании «Ниньей». В 1500 г. Висенте Янес достиг восточной оконечности Южной Америки.

[39] Кабрал Педру Алвариш (ок. 1467—1526) — португальский мореплаватель. Командовал флотом из тринадцати кораблей, направлявшимся в Индию. Течением и ветром был отнесен к берегам Бразилии.

[40] Кортереал Гаспар (ок. 1450—1501) — португальский мореплаватель. В 1500 г. исследовал берег Лабрадора и Ньюфаундленда. Из второго плавания не возвратился. В 1502 г. на его поиски отправился брат Мигел, который также пропал без вести. Младший из

братьев, Васканиш, также предпринял попытку найти пропавших мореплавателей, но и она не увенчалась успехом.

[41] Понсе де Лион Хуан (ок. 1460—1521) — испанский конквистадор. Участвовал во втором плавании Колумба. В 1513 г. открыл Флориду. Погиб от раны, полученной в схватке с индейцами.

[42] Бальбоа Васко Нуньес де (1475—1517) — испанский мореплаватель и конквистадор. В 1513 г. пересек Панамский перешеек и открыл Тихий океан, который он назвал «Южным морем».

[43] Алмейда Франсишку (ок. 1450—1510) — первый вице-король Индии. После трехлетнего правления был отозван королевским двором и погиб на обратном пути в Португалию.

[44] Элеонора Португальская — жена Жуана II, короля Португалии.

[45] Каннанор — город на Малабарском побережье. До сражения при Каннаноре Магеллан участвовал в захвате Килоа и Момбасы. Взятие этих городов сопровождалось грабежом и беспощадной резней.

[46] Вартема Лодовико — венецианский искатель приключений и путешественник. Побывал во многих краях, в том числе на Молукках и на островах Банда. Его «Путеводитель» был очень популярен в Средние века.

[47] Девять отбились от эскадры во время бури.

[48] Софала — населенный пункт на берегу Мозамбикского пролива около Бейры. В 1502 г. в нем побывал Васко да Гама. В 1508 г. в Софале была построена португальская крепость.

[49] Крис — кинжал с асимметрично изогнутым лезвием.

[50] Падуанская банка находится в Аравийском море, близ берегов Индии (между 12—14° с. ш. и 72—73° в. д.).

[51] Овладев Гоа, Албукерке вырезал всех мусульман, не щадя ни женщин, ни детей. Оставшиеся в живых были сожжены в мечети. Жестокое правление колонизаторов впоследствии вызвало ряд восстаний в Гоа.

[52] Тристан да Кунья (ок. 1460 — ок. 1540) — португальский мореплаватель и дипломат. Открыл много островов в южной части Атлантического океана, среди которых три острова названы его именем. Сопровождал Албукерке в Индию. В 1514 г. был направлен послом ко двору папы Льва X.

[53] Тернате — небольшой вулканический остров к востоку от Сулавеси.

[54] Белем — населенный пункт на реке Тежу (Тахо). В Белеме находится собор, где похоронены Васко да Гама, Камоэнс и некоторые из португальских королей.

[55] Писарро Франсиско (ок. 1471—1541) — испанский конквистадор, покоритель государства инков, которое находилось на территории современного Перу.

[56] Азамор (Аземмур) — город на марокканском побережье. В 1513 г. король Мануэл направил карательную экспедицию против местного султана, отказавшегося платить ему дань.

[57] Варнхаген Рахиль (1771—1833) — жена немецкого дипломата и литератора Варнхагена фон Энзе. В ее салоне собирались многие ученые и писатели. Стефан Цвейг хотел написать ее биографию, но этот замысел писателя остался неосуществленным.

[58] Клейст Генрих фон (1777—1811) — немецкий писатель, романтик.

[59] Солис Хуан де (1470—1516) — испанский мореплаватель. Открыл Ла-Плату, на берегах которой был убит в стычке с индейцами.

[60] Шенер Иоганн (1477—1547) — немецкий математик и географ. Соорудил два глобуса (1515 и 1520 гг.). Второй глобус известен только по копиям.

[61] Тосканелли Паоло (1397—1482) — итальянский ученый, убежденный сторонник учения о шарообразности земли. Прислал Колумбу копию своего письма (с картой), предназначенного для португальского короля, в котором высказывал мысль о возможности достичь Индии западным путем.

[62] Кадамосто (Када Мосто) Луиджи (ок. 1432–1480) — венецианский моряк, состоявший на службе у Генриха Мореплавателя. Обнаружил восточную группу островов Зеленого Мыса.

[63] Адриан VI (1459—1523) был избран папой за год до своей смерти (1522 г.). Происходил из семьи утрехтского ремесленника.

[64] Фонсека Хуан Родригез де (1451—1524) — архиепископ Бургосский, первый председатель Индийского совета.

[65] Альгвасил — полицейский комиссар. Алькальд — старшина общины, судья. Коррехидор — лицо, следившее за порядком в городе или в сельском округе. Рехидор — член городского самоуправления.

[66] Святая Екатерина Александрийская, по преданию, была колесована. Колесо св. Екатерины служит символом тяжких мучений.

[67] Сан-Лукар-де-Баррамеда — город в устье Гвадалквивира, основанный еще римлянами. Приобрел большое значение в эпоху Великих географических открытий.

[68] Педро д'Ариас (Педрариас) (ок. 1440–1531) — испанский чиновник, губернатор Дарьена. Судил и казнил Бальбоа. Им основан город Панама.

[69] Петр Ангиерский (Пьетро Мартире д'Ангиера) (ок. 1455–1526) — испанский историк, родом итальянец. Воспитатель королевских детей. В своих сочинениях описал открытие новых земель.

[70] Максимилиан Трансильванский — секретарь Карла V. Его письмо к епископу Зальцбургскому является одним из немногих документов, проливающих свет на историю первого кругосветного путешествия.

[71] Берлиц Максимилиан Дельфиниус (1852—1921) — американский лингвист и педагог, разработал методику изучения языков без словаря.

[72] Гуарани — индейское племя, обитавшее южнее Ориноко.

[73] Речь идет о показаниях, данных дель Кано по возвращении в Севилью.

[74] Енох, сын Каина, по библейскому преданию, скитался по неведомым странам и положил начало заморским народам.

[75] Тринкуло — шут, персонаж «Бури» Шекспира. Калибан — чудовище из той же пьесы, подпавшее под власть Просперо, миланского герцога.

[76] Шекспир вкладывает в уста Калибану призыв к Сетебосу.

[77] Сулуан — маленький островок у южной оконечности острова Самар (Филиппины).

[78] Сейчас этот остров называется Хомонхон.

[79] Магеллан назвал их Лазаревыми. В 1542 г. острова были переименованы в Филиппинские — в честь Филиппа II, тогда еще инфанта.

[80] Сейчас этот остров называется Лимассава.

[81] Кацик — вождь; слово заимствованно испанцами из языка таино, на котором говорило коренное население Антильских островов.

[82] Какамацин (ок. 1495—1520) — последний вождь мексиканских племен, племянник Монтесумы. Несмотря на пытки, которым его подвергли испанцы, не выдал местонахождения спрятанных сокровищ.

[83] Подразумеваются широко пропагандируемые «патриотические» пожертвования в Германии в годы Первой мировой войны.

[84] Овьедо-и-Вальдес Гонсалес (1478—1557) — испанский летописец, автор «Всеобщей и естественной истории Западной Индии» (то есть Америки). Губернатор Санто-Доминго.

[85] «Араукана» — поэма Алонсо Эрсилья-и-Сунига (1533—1596), в которой описывается борьба с арауканами, составляющими основную массу индейского населения Чили.

[86] Сармьенто де Гамбоа Педро (ок. 1530 — после 1589) — испанский мореплаватель. Пытался построить форт в Магеллановом проливе, но был захвачен в плен англичанами.

Содержание

От автора 5

Navigare necesse est 9
Магеллан в Индии 30
Магеллан обретает свободу 48
Идея Магеллана осуществляется 66
Воля человека преодолевает тысячи препятствий 82
Отплытие 96
Тщетные поиски 110
Мятеж 129
Великая минута 144
Магеллан открывает свое королевство 166
Смерть накануне полного торжества 182
Возвращение без предводителя 196
Мертвые всегда не правы 217

Примечания 229

Цвейг С.
Ц26 Подвиг Магеллана / Стефан Цвейг. — М. : Ломоносовъ. — 2012. — 240 с. — (История. География. Этнография).
ISBN 978-5-91678-132-8

Книга «Подвиг Магеллана» — одна из вершин творчества классика австрийской литературы, мастера биографической прозы Стефана Цвейга (1881—1942). В центре повествования — португалец Фернао де Магельаеш, совершивший величайшее плавание эпохи Великих географических открытий и вошедший в историю под именем Магеллана. Отплыв от испанского берега на пяти утлых парусниках в неизвестность, его экспедиция — благодаря невероятному мужеству и железной воле своего командора — совершила кругосветное путешествие и на практике доказала шарообразность Земли. Из двухсот шестидесяти пяти участников экспедиции домой вернулись лишь восемнадцать на одном латаном-перелатаном корабле. Сам Магеллан нелепо погиб в дни своего величайшего торжества на филиппинском острове Мактан, подвиг его был присвоен другими, и только спустя многие десятилетия справедливость была восстановлена. Книга Стефана Цвейга считается лучшей биографией великого мореплавателя.

УДК 910
ББК 26.8г

История. География. Этнография

Стефан Цвейг

Подвиг Магеллана

Редактор О. Иванов
Верстка А. Кашафутдиновой

Подписано в печать 24.02.2012.
Формат 60×90/16.
Усл. печ. л. 15. Тираж 1500 экз. Заказ № 7915.
ООО «Издательство «Ломоносовъ»
119034 Москва, Малый Левшинский пер., д. 3
Тел. (495) 637-49-20, 637-43-19
info@lomonosov-books.ru
www.lomonosov-books.ru

Отпечатано в ОАО «Можайский
полиграфический комбинат»
143200 г. Можайск, ул. Мира, д. 93
www.oaompk.ru, www.oaompk.рф
тел.: (495) 745-84-28, (49638) 20-685

В СЕРИИ также ВЫШЛИ:

Лев Минц. Котелок дядюшки Ляо

Виталий Бабенко. Земля — вид сверху

Ольга Семенова-Тян-Шанская. Жизнь «Ивана»

Владислав Петров. Три карты усатой княгини

Свен Хедин В сердце Азии

Геннадий Коваленко. Русские и шведы от Рюрика до Ленина

Лев Минц. Придуманные люди с острова Минданао

Бенгт Янгфельдт. От варягов до Нобеля

Олег Ивик. История человеческих жертвоприношений

Анна Мурадова. Кельты анфас и в профиль

Даниэль Клугер. Тайна капитана Немо

Валерий Гуляев. Доколумбовы плавания в Америку

Светлана Плетнева. Половцы

Ким Малаховский. Пираты британской короны
Фрэнсис Дрейк и Уильям Дампир

Алексис Трубецкой. Крымская война

Валерий Гуляев. Загадки индейских цивилизаций

Олег Ивик. Женщины-воины: от амазонок до куноити

Виолен Вануайек. Великие загадки Древнего Египта

Яков Свет. За кормой сто тысяч ли

Лев Минц. Блистательный Химьяр и плиссировка юбок

Аксель Одельберг. Невыдуманные приключения Свена Хедина

Гомбожаб Цыбиков. Буддист-паломник у святынь Тибета

Никита Кривцов. Сейшелы — осколки трех континентов

Олег Ивик. История сексуальных запретов и предписаний

Виктор Бердинских. Речи немых

Светлана Федорова. Русская Америка: от первых поселений до продажи Аляски

Стаффан Скотт. Династия Бернадотов: короли, принцы и прочие...

Геннадий Левицкий. Самые богатые люди Древнего мира

Георгий Вернадский. Монголы и Русь

Наталья Пушкарева. Частная жизнь женщины в Древней Руси и Московии: невеста, жена и любовница

В. Белявский. Вавилон легендарный и Вавилон исторический

Олег Ивик. История и зоология мифических животных

Лев Карсавин. Монашество в Средние века

Владислав Петров. Древняя история смерти

Олег Ивик. Еда Древнего мира

НАШ
ИНФОРМАЦИОННЫЙ
ПАРТНЕР

РАДИО
ГОВОРИТ
МОСКВА 92,0 FM

Стефан Цвейг
Подвиг
Магеллана

Эпоха Великих географических открытий породила множество героев. Однако и среди них Фернао де Магельяеш, вошедший в историю под именем Магеллана, занимает особое место. Покинув с пятью утлыми парусниками испанский берег, он, человек невероятного мужества и железной воли, — первым в мире — на практике доказал шарообразность Земли. Ничто не могло остановить его — ни безумные лишения многомесячного плавания в неизвестность, ни козни завистников, ни предательство соратников. Из двухсот шестидесяти пяти участников его экспедиции домой вернулись лишь восемнадцать на одном латаном-перелатаном корабле. Сам Магеллан нелепо погиб в дни своего величайшего торжества на филиппинском острове Мактан, подвиг его был присвоен другими, и только спустя многие десятилетия справедливость была восстановлена.

Книга «Подвиг Магеллана» считается одной из вершин творчества классика австрийской литературы, мастера биографической прозы Стефана Цвейга (1881–1942).

ISBN 978-591-678-132-8